

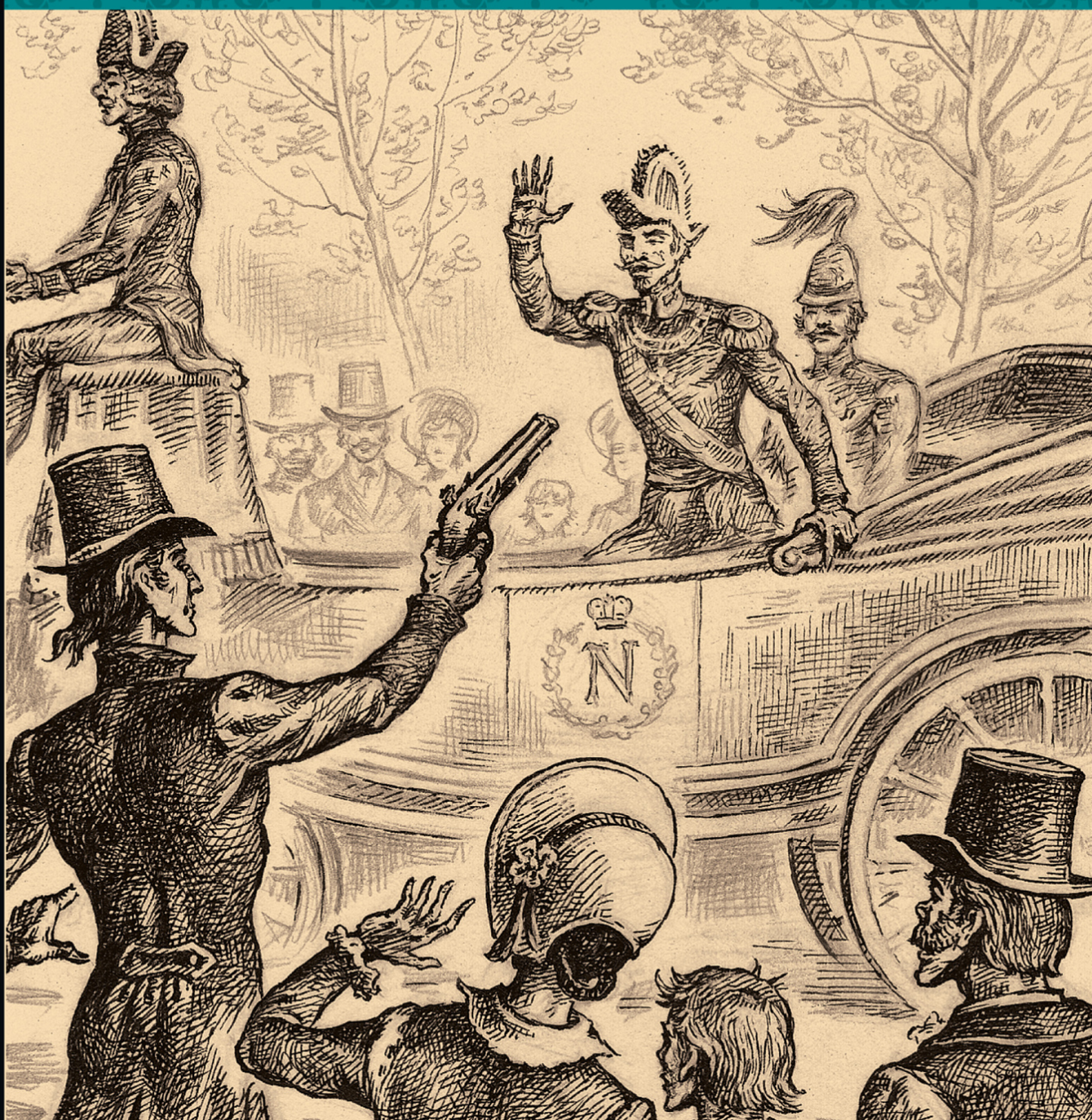


всепутная история в романах



Грегор САМАРОВ

ЕВРОПЕЙСКИЕ МИНЫ И КОНТРМИНЫ



Всемирная история в романах

Грегор Самаров

Европейские мины и контрмины

«ВЕЧЕ»

Самаров Г.

Европейские мины и контрмины / Г. Самаров — «ВЕЧЕ»,
— (Всемирная история в романах)

ISBN 978-5-4484-7793-5

В 1867 году Европа оказалась на пороге больших перемен. Годом ранее Пруссия, одержав решительную победу над Австрийской империей, властно вышла на арену большой политики, начав собирать вокруг себя разрозненные прежде немецкие государства. Все понимают, что Пруссия не остановится на достигнутом. Кто станет следующей жертвой ее растущих аппетитов? Поединок воли и коварные интриги, блеск дипломатических салонов и пороховой дым батальей, слава и рок мировой истории оживают под пером «немецкого Дюма» — Грегора Самарова. На страницах его масштабной эпопеи, в которую, вслед за романом «За скипетр и корону», входит и эта книга, перед читателем предстает широкая панорама Европы на фоне эпохи «железа и крови».

ISBN 978-5-4484-7793-5

© Самаров Г.
© ВЕЧЕ

Содержание

Об авторе	6
Часть первая	8
Глава первая	8
Глава вторая	18
Глава третья	27
Глава четвертая	35
Глава пятая	43
Глава шестая	52
Глава седьмая	59
Глава восьмая	68
Глава девятая	77
Глава десятая	88
Глава одиннадцатая	96
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Грегор Самаров

Европейские мины и контрмины



Грегор Самаров
(1828—1903)

Об авторе

Немецкий писатель Грегор Самаров (настоящее имя – Йоханн Фердинанд Мартин Оскар Мединг) родился 11 апреля 1828 г. (по другим данным, 1829) в прусском Кёнигсберге (ныне Калининград). Он изучал право и экономику в учебных заведениях родного города, а потом – в Гейдельберге и Берлине. В 1851 г. Оскар Мединг поступил на службу в королевские органы управления. Через несколько лет (1859) Мединг перебирается ко двору последнего ганноверского короля Георга V, где быстро завоевывает авторитет своими познаниями и становится советником монарха по внешнеэкономическим вопросам. В 1863 г. он получил должность правительственного советника, но три года спустя Георг был низложен. Мединг сопровождал в изгнание монарха, очень его ценившего. Более того, в 1867—1870 гг. Мединг был неофициальным посланником своего сюзерена в Париже. Позднее он вел со всемогущим канцлером Отто Бисмарком переговоры о судьбе распущенного Иностранного легиона.

С начала семидесятых годов позапрошлого века Мединг поселился в Берлине и занялся литературой, взяв себе псевдоним Грегор Самаров. Европейскую известность ему принесла пятитомная эпопея «За скипетры и короны», которую составили романы: «За скипетр и корону» (1872), «Европейские мины и контрмины» (1873), «Две императорские короны» (1873), «Крест и меч» (1875), «Герой и император» (1876). Почти сразу же книги Г. Самарова были переведены на русский язык; так, два первых романа «пятикнижия» были выпущены в Москве в 1873 г. Уже в 1874 г. писатель выпустил несколько романов, названных им «современными», то есть отражающими события ближайшей истории: «Смертный привет легионов» (в русском переводе – «Последний привет легионов» и «Последнее прощание легионов») и трехтомный «Римский поход эпигонов» (русский перевод – «Накануне грозных событий»). «Современную» серию продолжили такие романы, как «Осада Меца и смерть Наполеона III», «Вокруг полумесяца», «Плевна» (даты выхода переводов на русский язык – 1877, 1882 и 1884 гг. соответственно). Даже из этого краткого упоминания переводов Г. Самарова на русский язык (а первые их издания выходили в последней четверти XIX в.) видно, что российские издатели не слишком аккуратно относились к авторским названиям, а потому один и тот же роман немецкого автора можно встретить не только в разных переводах, но, к сожалению, и под разными названиями.

В 1879 г. Мединг переезжает в Шарлоттенбург (ныне это территория Берлина), где остается до конца жизни. Он пишет преимущественно исторические романы: трилогия «Наследие императора» («Желтая опасность», «Победа в Китае», «Возвращение»), «Корона Ягеллонов», «Коронованная мученица», «Ганноверский кирасир», «Медичи», «На берегах Ганга» с продолжением «Раху», «Саксобоуссы», «Полк кронпринца». Безусловно, к числу лучших произведений Г. Самарова относятся его «русские» романы, точнее – произведения о властителях немецкой крови на российском престоле: «Петр III» (он же – «На троне Великого деда»), «Елизавета, царица России» (в переводе – «При дворе императрицы Елизаветы»), екатерининские романы «На пороге трона» и «Григорий Орлов» («Адьютант императрицы»). Очень незначительными на этом обширном историческом поприще выглядят попытки Самарова создать современный «социальный» роман: «Высоты и бездны» (1879—1880), «Берлинские скандалы». Грегор Самаров известен и как мемуарист. Еще в 1881—1884 гг. он выпустил трехчастные «Воспоминания из современной истории». В дальнейшем в Париже вышла книга «От Садовой к Седану», имевшая подзаголовок «Воспоминания секретного посланника при Тюильри». Две книги воспоминаний писатель издает в 1896 г.: «Из дней минувших» и «Воспоминания времен брожения и отстоя». Наконец, надо упомянуть и еще об одной стороне творчества Г. Самарова: он был историографом кайзера Вильгельма I. В 1885 г. писатель выпускает книгу «88 лет в вере, борьбе и победе. Человеческий и героический портрет нашего немецкого

императора», а в 1903 г. вышла трехтомная биография Вильгельма. Умер Оскар Мединг 11 (по другим данным, 12-го) июля 1903 г.

В 1904—1909 гг. в Санкт-Петербурге бесплатным приложением к журналу «Север» вышло 20-томное собрание сочинений писателя. В советское время путь Г. Самарова к российскому читателю был закрыт. Наше знакомство возобновилось в девяностые годы прошлого века. А в 1997—1998 гг. даже был издан семитомник немецкого писателя, в котором собраны исторические романы, в основном на русскую тему.

Анатолий МОСКВИН

Избранная библиография Грегора Самарова:

- «За скипетр и корону» (Um Szepter und Kronen, 1872),
- «Европейские мины и контрмины» (Europäische Minen und Gemenen, 1873-1875),
- «Две императорские короны» (Zwei Kaiserkrone, 1875),
- «Крест и меч» (Kreuz und Schwert, 1875-1876),
- «Герой и император» (Held und Kaiser, 1876).
- «Императрица Елизавета» (Kaiserin Elisabeth, 1881)
- «Великая княгиня» (Die Grossfürstin, 1882)
- «Григорий Орлов» («Адьютант императрицы») (Der Adjutant der Kaiserin, 1885)

Часть первая

Глава первая

Была середина марта 1867 года. В комнате принца Французской империи, в старом дворце Тюильри, царил полумрак. Тяжелая зеленая драпировка была спущена почти до половины окон, и в помещение, которое согревал яркий огонь камина, проникал лишь бледный свет пасмурного дня.

Большой стол посредине комнаты был завален книгами и географическими картами. На маленьком столе выстроились солдатики из папье-маше, представлявшие различные части французской армии. Рядом находились рисовальный столик и этажерка со всеми графическими принадлежностями. Имелся небольшой электрический аппарат, а вокруг – множество тех безделушек, которые служили частью для игры, частью для обучения *нежного мальчика*, как называли принца, на которого были обращены глаза всей Европы: отчасти с заботливым вниманием, отчасти с напряженным интересом, отчасти с неумолимой ненавистью.

Близ камина, рядом со столом, заваленном книгами с картинками, стояла кушетка. На ней лежал одиннадцатилетний принц в широком шлафроке из черной шелковой материи. Худощавое лицо, покрытое бледностью, которая свидетельствует о долгой болезни, покоилось на кружевной подушке. Большие темные глаза с лихорадочным блеском резко выделялись на фоне белой кожи; детский рот с пухлыми губами нервно подергивался.

Тонкая, элегантная рука лежала на развернутой книге с раскрашенными картинками, представлявшими французские костюмы в различные исторические эпохи: с иллюстрации смотрел Людовик XVI в королевских регалиях, окруженный вельможами и дамами в блестящих придворных нарядах того времени.

Другую руку принца держал стоявший пред ним императорский лейб-медик, доктор Конно, который внимательно смотрел на часы и считал удары пульса.

Серьезное и умное лицо старого друга и врача Наполеона III не выражало удовлетворения, и он дольше, чем следовало, держал руку больного, постоянно наблюдая биение пульса, и иногда почти незаметно кивал.

По другую сторону стоял воспитатель принца, генерал Фроссар – серьезная военная фигура, прямая и негибкая, выражавшая приветливость и железную волю. Он пытливо смотрел на доктора, который, выпустив руку принца, долго вглядывался в лицо юного пациента.

– Как только погода улучшится, – сказал наконец Конно, – принца надо будет перевезти в Сен-Клу; продолжительное пребывание на чистом воздухе и солнце – вот главный залог выздоровления.

Глаза принца расширились, на губах появилась радостная улыбка.

– От всей души благодарю вас за это распоряжение, – сказал он звонким и чистым голосом, слегка ослабевшим от болезни. – Меня так и тянет из этих стен на чистый воздух, к цветам и деревьям, которые я могу здесь видеть только из окна! Поверьте, – продолжал он после небольшой паузы, во время которой глаза его задумчиво смотрели на раскрашенную картинку, – поверьте, в этих стенах я никогда не буду здоров: они делают меня несчастным, давят, теснят... О, прошу вас, сейчас, немедленно отправить меня!

– Погода еще довольно холодная, принц, – ласково возразил Конно, нежно проводя рукой по блестящим русым волосам императорского сына, – надо подождать немного, переезд может быть вредным для вас!

Неудовольствие и огорчение отразились на лице мальчика, лоб его наморщился, на глаза навернулись слезы.

– Никакой переезд не может быть вредным для меня настолько, – сказал он, пылко сжимая пальцы, – насколько пребывание здесь, в Тюильри. Я хочу ехать!

– Принц, – сказал генерал Фроссар строгим тоном, – прежде чем повелевать, выучитесь сперва повиноваться родителям и наставникам, а главное, необходимости. Не волнуйтесь и ждите спокойно минуты, когда доктор позволит вам переехать.

Принц опустил глаза, глубокий вздох вырвался из его груди и, как бы невзначай, он указал на картинку, лежавшую у него на коленях.

– Говорю вам, – сказал он через несколько минут, когда выражение упрямства и раздражения исчезло с его лица, сменившись глубокой печалью. – Говорю вам, что здесь я никогда не смогу выздороветь! – Представьте себе, доктор, – продолжал он. – Я лежал здесь и рассматривал изображения старинных костюмов и при этом вспоминал все, что выучил из французской истории. На каждой новой картинке я видел новую кровь и бедствие, новые потоки крови, новые ужасы, которые приносили своим обитателям Лувр и соединенный с ним теперь Тюильри. Меня охватила печаль, и я заснул на этой картинке, изображающей бедного короля Людовика.

Широко раскрытые глаза принца, горящие лихорадочным блеском, устремились к потолку.

– Потом мне приснился бедный малютка дофин¹, печально протянувший ко мне руку, – продолжал принц, понижая голос до шепота. – Потом я видел римского короля², который медленно спускался в одинокую могилу, приветствовал меня рукой и так печально смотревший на меня, что у меня заныло вот тут... – Мальчик положил руку на сердце. – Потом яркое пламя охватило все стены этого здания, двор превратился в море крови, и в это море рухнули развалины сгоревшего здания. – От страха и ужаса я хотел бежать, но меня алые волны кровавого моря и хотели поглотить... Я проснулся, но и теперь еще вижу перед собой страшную картину! Милый доктор, выпустите меня поскорее из этого страшного Тюильри, я не могу здесь спать, не боясь снова увидеть этот кошмарный сон!

Принц с мольбой сложил руки и жалобно посмотрел на доктора.

Конно тоскливо и с участием стал всматриваться в расстроенные черты мальчика.

– Принц, – сказал генерал Фроссар спокойным, твердым тоном, – вам не следует волноваться и думать о снах; в истории каждой страны есть много прискорбного, много кровавых и страшных минут, лучше думайте о том великом и величественном, которым так обильна минувшая и настоящая история прекрасной Франции.

– Для принца было бы лучше оставить на некоторое время всякое занятие историей, – сказал Конно генералу, – необходимо дать отдых нервам.

Генерал медленно снял книгу с колен мальчика.

– Теперь мы оставим эти картинки, – сказал он ласково, – займемся немного геометрией и решим несколько задач.

Он вынул из портфеля доску с фигурами треугольников и положил ее перед принцем.

Последний весело посмотрел на своего воспитателя и сказал:

– О да! Хорошо... мне так весело, когда я решу задачу. Я буду прилежен.

– И обещаю вам, принц, – сказал Конно с улыбкой, – что при первой возможности вы отправитесь в Сен-Клу... Я немедленно доложу императору и попрошу его дать повеление.

– Ваш сын поедет со мной? – спросил принц. – Мне будет там скучно без моего милого товарища.

¹ Имеется в виду Людовик Карл (1785—1795), дофин Франции, провозглашенный после казни его отца королем Франции под именем Людовика XVII.

² Имеется в виду Наполеон II (1811—1832), сын Наполеона Бонапарта, которому при рождении был пожалован титул «король Римский».

– Конечно, он поедет, если позволит император, – отвечал Конно. – И если вы оба будете послушны и прилежны, – промолвил он ласково и с улыбкой.

– Обещаю! – вскричал принц. – Впрочем, – прибавил он, бросая на своего воспитателя полуумоляющий, полулукавый взгляд, – об этом позаботится генерал.

– До свидания! – сказал доктор с ласковым взглядом и, протянув руку, еще раз провел по волосам сына своего царственного друга.

Потом дружески пожал генералу руку и вышел из комнаты принца.

С пасмурным лицом и тяжкими думами в голове, медленно прошел он по галерее, примыкавшей к кабинету Наполеона III.

В императорской приемной он застал дежурного адъютанта, генерала Фаве – небольшого, живого человека, с проседью на голове и быстрыми глазами, и маркиза де Мутье, который по выходе в отставку вследствие немецкой катастрофы Друэн де Люиса был назначен министром иностранных дел.

Маркиз только что приехал; он положил свой портфель на стол и разговаривал с генералом. Оба были в черных сюртуках согласно обычаю французского двора.

Де Мутье, принадлежавшему к числу тех древнефранцузских дворян, которые примирились с императорством Наполеона, было тогда лет за пятьдесят. Некоторая дородность лишала изящества его невысокую, стройную прежде фигуру, важное, бледное лицо, обрамленное короткими волосами и небольшими черными усами, носило печать хилости, но в то же время дышало юношеским пылом.

Доктор Конно с почтительной вежливостью поклонился маркизу и дружески протянул руку генералу Фаве.

– Господин министр, – сказал он, – прошу вас уступить мне первую очередь – я не долго задержу вас, мне нужно только сообщить его величеству о здоровье его высочества.

Маркиз выразил свое согласие безукоризненным поклоном.

– Как здоровье принца? – спросил он. – Его здоровье – вопрос не только медицинский, но и политический, и потому я вдвойне интересуюсь им.

– Принц на пути к полнейшему выздоровлению: боль в бедре уменьшилась, и мальчик, как я надеюсь, вскоре совсем поправится, – отвечал доктор уверенно, хотя не исчезнувшая с лица озабоченность не вполне гармонировала с содержанием его ответа и тоном, которым тот был произнесен.

– Бесконечно рад этому, – сказал министр. – Вам известно, что многие европейские кабинеты и многие партии во Франции с беспокойством следят за болезнью наследника престола.

– Это последствия скарлатины, сильно потрясшей всю нервную систему мальчика, – отвечал доктор спокойно. – Опасных симптомов нет никаких, и враги императора и Франции зря питают надежды.

Отворилась дверь императорского кабинета, на пороге появился Наполеон III и заглянул в приемную.

На глубокий поклон министра и лейб-медика он ответил легким кивком и ласковой улыбкой.

Со времени катастрофы минувшего года император заметно постарел и обессилел. Зима ослабила его здоровье ревматическими болями, который потрясли его и без того впечатлительную и легко раздражаемую нервную систему. Следы этих неопасных, но мучительных страданий отразились в его лице и в осанке: ссутулившаяся фигура, склоненная набок голова и приветливая улыбка, обращенная к министру и доктору, производили какое-то печальное и тягостное впечатление..

Конно подошел к императору.

– Я от его высочества, – сказал он. – Маркиз де Мутье согласился подождать немного, – прибавил он, кланяясь министру иностранных дел.

Император с улыбкой кивнул головой маркизу и сказал:

– На одну минуту, мой дорогой министр.

Потом он возвратился в свой кабинет. Конно последовал за ним.

Когда затворилась дверь, приветливое выражение исчезло с лица императора. Он сел в кресло, находившееся перед его письменным столом, и оперся на подлокотники.

Веки императора приподнялись, глаза сверкнули, как звезды из-за облаков в летнюю ночь, и с немым вопросом обратились к старинному другу, спокойно стоявшему перед ним.

Взгляд императора был печален, тосклив. Из его живых глаз, которые внезапно блеснули на неизменно непроницаемом, вечно равнодушном лице, и выразили все волнение его человеческой души, излился поток мягкого электрического света; цвет больших зрачков как будто изменялся в своих переживаниях. С выражением немого вопроса обратились они на доктора, который с глубоким участием смотрел на своего повелителя.

– Как здоровье моего сына? – спросил Наполеон.

– Государь, – отвечал Конно серьезным тоном, – я питаю вескую надежду на скорое и полное выздоровление, но не могу скрыть от вашего величества, что принц еще серьезно болен!

Взгляд императора стал еще более жгучим и пламенным и как будто хотел проникнуть в душу лейб-медика.

– Есть опасность для его жизни? – спросил он почти беззвучно.

– Я поступил бы глупо и не был бы другом вашего величества, – отвечал Конно, – если бы в эту минуту скрыл от вас хоть самую ничтожную мысль. После тяжелой болезни принца, – продолжал он твердым и серьезным тоном, – наступил род анемии, разжижения субстанции крови, что вкупе с сильным расстройством нервов пожирает, подобно сильному пламени, и без того слабую, не находящую достаточной подпитки, жизненную силу. Все дело в том, пополнит ли природа из своего неисчерпаемого источника быстро исчезающие силы, восстановит ли она правильную экономию организма. Медицина не имеет для этого никаких средств; опять же, было бы в высшей степени опасно воздействовать сильными и препаратами на тихое развитие этой нежной натуры. Если ей хватит сил, чтобы преодолеть кризис, в сущности, объясняющийся бездеятельностью, то принц в короткое время оправится, его здоровье окрепнет... Но, – прибавил он, потупив глаза перед жгучим взором императора, – если природа откажет в помощи, то принца так же скоро не станет, как быстро сгорает зажженная с обоих концов свеча.

– Чем же помочь природе? – спросил император, сложив руки и нагнувшись к доктору.

– Полным покоем, отсутствием всяческих волнений и свежим воздухом, – отвечал Конно. – Как только погода устоится и станет теплее, принца следует отправить в Сен-Клу, и я прошу ваше величество дать надлежащие приказания.

– Поезжайте сейчас же, дорогой Конно, – сказал Наполеон, – и устройте все как сочтете лучшим, сделайте все нужное, и – он с мольбой протянул руки к другу – спасите мне сына... Спасите принца!

Конно посмотрел на императора с глубоким состраданием и с выражением сердечного участия. Он подошел на шаг ближе и мягким, слегка дрожащим голосом сказал:

– Я сделаю все, что зависит от науки, и если мое искусство окажется бессильным, буду молить о помощи Небесного Врача!

Император опустил глаза и задумался на несколько мгновений.

– Долетает ли молитва людей до того великого существа, которое правит судьбами людей и народов? – спросил он почти шепотом. – Дорогой друг! – вскричал он потом, выпрямляясь и медленно опуская голову на спинку кресла. – Как жестока ко мне рука судьбы! Я люблю это дитя, – продолжал он с любовью, – оно так чисто, так прекрасно... каким был и я когда-то, давно, очень давно. Это дитя – луч солнца в моей жизни... даже более: оно будущее моей династии, той династии, которую основал мой дядя кровью и громом побед и которую я вос-

становил с таким терпением, тяжким трудом, неустойчивой настойчивостью! Если рок похитит у меня это дитя, сердце отца надорвется... гордое здание императорства рухнет!

Помедлив, он, как бы говоря с самим собой, продолжил:

– Каждый отец может сидеть у постели своего больного ребенка, бодрствовать над ним, а я... я должен скрыть в своем сердце всю тоску, всю печаль, я должен с веселым лицом приходить к своему сыну... я должен отречься от снедающей меня скорбь, потому что никто, никто, Конно, не должен заподозрить, что червяк подтачивает мое императорское здание... О, Конно, Конно! – вскричал он с невыразимым прискорбием, взглянув на лейб-медика. – Как тяжело быть императором!

– Все великое тяжело, – отвечал Конно, – но, во всяком случае, императором труднее стать, чем быть.

– Кто знает... – сказал Наполеон задумчиво.

– Но зачем вашему величеству питать столь грустные мысли? – спросил Конно. – Вы были смелы и отважны в дни несчастья, борьбы; зачем терять надежду на свою звезду, которая с таким блеском достигла зенита?

Наполеон устремил долгий взгляд на своего друга.

– Часто мне кажется, – сказал он мрачно, – что эта звезда уже клонится к закату... И закаты совсем, когда угаснет юная жизнь, которая после моей смерти должна обещать новый день. История моего дома доказывает, – продолжал он глухим голосом, – что судьба ведет нас путем от Аустерлица к Святой Елене.

– Какие мрачные мысли у вас, государь! – вскричал Конно. – Разве мученическая скала Святой Елены не стала краеугольным камнем восстановленного с таким блеском императорского престола? Государь, если бы мир мог слышать, какие мысли наполняют душу могучего властелина великой Франции!

– Этого не будет! – заявил император, гордо выпрямляясь и принимая свое обычное спокойное выражение. – Эти мысли будут погребены в сердце друга! Конно, – продолжал он ласково, причем веселая, почти детская добродушная улыбка осветила его мрачное лицо, – у меня есть преимущество пред дядей: он узнал своих истинных друзей только в последние дни несчастья, я же испытал их раньше и, сидя на троне, знаю тех, кто не покинул меня в изгнании.

И он протянул руку лейб-медику. Глаза последнего увлажнились.

– Молю Бога, – промолвил он, – чтобы счастье было вам так же верно, как сердце вашего друга.

– Теперь идите, Конно, – сказал Наполеон после минутной паузы. – Поторопитесь отдать нужные распоряжения, чтобы спасти жизнь принца, а я стану работать для утверждения его будущего трона. Еще одно, – прибавил он, делая шаг к уходившему доктору, – никто не должен знать, что принц в опасности, и уже поэтому необходимо перевести его подальше от любопытных глаз... Никто не должен знать, Конно, даже императрица – она не сумеет скрыть ни печали, ни забот, – ни мой кузен Наполеон, – прибавил император, устремляя пронизательный взгляд на доктора.

– Не беспокойтесь, государь, – отвечал последний, – я умею хранить тайны императора!

И, ответив на дружеское пожатие императора, вышел из кабинета.

Наполеон остался один.

Он медленно прошелся несколько раз по комнате.

– Неужели судьба против меня? – проговорил Наполеон в задумчивости. – Почему труднее удержаться на высоте, чем взобраться на нее? Но если рука ли судьбы грозит мне, то не допустил ли я сам важной ошибки? Мексика! Мог ли я начать эту экспедицию, не имея гарантий со стороны Англии? Немецкая катастрофа? Не допустил ли я просчета, когда еще

было время повлиять на ситуацию? Италия? Следовало ли отступить от Цюрихского трактата³ и допустить образование одного целого государства, которое восстает против меня и требует Рима, которого я не могу уступить, не обрета себе врага в церкви, не потеряв навсегда влияние Франции на Апеннинский полуостров? И довольны ли карбонарии? Могу ли я надеяться, что новый Орсини⁴ не поднимет на меня руки?

Император понурил голову, затем продолжил:

– Да, это были великие ошибки, и гибельные их последствия тяготят теперь надо мной! Впрочем, – продолжил он, немного поразмыслив и повеселев, – хорошо, что это критическое положение составляет следствие моих ошибок: человеческие ошибки можно исправить и обратить во благо человеческой воли и человеческим рассудком. Но рука вечной судьбы неотвратима и неумолима. Смерть моего сына, – промолвил он с увлажнившимися глазами, – будет, конечно, ударом судьбы, который теперь еще только угрожает... Поэтому я постараюсь исправить, насколько возможно, свои ошибки, чтобы умолить судьбу. Надобно что-нибудь предпринять в немецком вопросе и показать тем миру и особенно Франции, что мое могущество не уменьшилось и что великие европейские перевороты не смогут совершиться без соответствующего усиления Франции, необходимого для сохранения равновесия.

Наполеон сел в кресло и закурил одну из тех больших сигар из лучшего гаванского табака, которые специально изготавливались для него в Гаване.

Следя взорами за легкими синими облачками, разливавшими аромат по комнате, император тихо проговорил:

– Мне советуют великие комбинации и коалиции, чтобы переиграть результаты 1866 года. В интересах ли Франции, в интересах ли моей династии предпринимать столь опасную игру и вмешиваться в события, которые совершаются по великим законам национальной жизни народов? Кому я принесу пользу... кто будет мне благодарен? Нет, предоставим событиям идти своим путем. Возникновение объединенной Германии никак не умалит величия и привлекательности Франции, надо только положить на другую чашу весов надлежащую гирию. Гирия эта Люксембург... Французская Бельгия... нейтральное прирейнское государство, – шептал он. – При дальнейших шагах Германии к объединению я буду предусмотрительнее и загодя обеспечу себе вознаграждение! Но согласятся ли в Берлине на присоединение Люксембурга? Не на столько же они глупы, чтобы поссориться со мной из-за этого вопроса! – вскричал Наполеон, вскочив. – В Берлине достигли многого и могут дать мне что-нибудь... особенно теперь, когда организация моей армии значительно продвинулась вперед.

Он взял лежавшее на столе письмо и несколько минут внимательно смотрел на красивый, твердый почерк, которым оно было написано.

– Королева София – самый умный политик нашего времени, – сказал император наконец. – Как понимает и схватывает она тончайшие оттенки мысли, со всей хитростью женщины и ясностью мужчины! Она сомневается, что вопрос разрешится мирно, и опасается столкновения.

Государь задумался на несколько мгновений и потом позвонил.

– Прошу маркиза де Мутье, – сказал он вошедшему камердинеру.

Вошел министр. Наполеон, приподнявшись, приветствовал его легким наклоном головы, указал на стоявший напротив стул и уселся в свое кресло, между тем как маркиз открыл портфель и вынул из него несколько бумаг.

– У вас веселый вид, мой дорогой министр, – сказал император с улыбкой, поглаживая усы, – хорошие известия принесли вы мне?

³ Цюрихский мирный договор 1859 г. был заключен после войны, в которой Франция и Сардинское королевство победили Австрийскую империю.

⁴ Феличе Орсини – итальянский революционер, предпринявший 13 марта 1858 г. неудачное покушение на Наполеона III.

– Государь, – отвечал маркиз, глянув на вынутую из портфеля бумагу, – переговоры в Гааге идут превосходно; Боден сообщает, что тамошнее правительство решилось добиться во что бы то ни стало отделения Лимбурга и Люксембурга от Германии и освободиться от постоянной угрозы, представляемой для него прусскими войсками в люксембургской крепости. Все переговоры об уничтожении этой связи с Германией после распада Немецкого Союза остались тщетными, и король вполне готов уступить великое герцогство Франции. Но для этого, как я указывал еще в конце минувшего месяца, должно начать переговоры с Пруссией. Посол прибавляет, – продолжал маркиз, – что население великого герцогства вообще склонно к присоединению к Франции и с радостью встретит ту минуту, когда ей суждено будет составить часть великой французской нации.

Довольная улыбка заиграла на губах императора. Поглаживая усы, он спросил:

– Говорили о цене?

– Не подробно, – отвечал министр. – Ее определяют отдельные переговоры.

– Вопрос не имеет никакого значения, – сказал император, – не нужно придавать ему особой важности. Во всяком случае, в Голландии должны знать, что важнейшая и существеннейшая выгода дела лежит в будущем. Фландрская область...

– Там вполне понимают настоящее и будущее значение вопроса, – прервал маркиз, заглянув в сообщение, которое держал в руке. – И посланник удивляется, найдя такое согласие в подробностях.

Император с улыбкой кивнул головой.

– Одной из причин признали несогласие всего народа, – продолжал министр.

– Само собой, – сказал император, затянувшись сигарой и выпустив дым большим облаком. – Но, дорогой маркиз, – продолжал он, останавливая проницательный взгляд на министре, – вы полагаете, что в Берлине дадут свое согласие, и мы не встретим там никаких затруднений?

Маркиз де Мутье слегка пожал плечами и, вынув из портфеля другую депешу, отвечал:

– Конечно, Бенедетти не говорил с графом Бисмарком об этом предмете, однако же сообщает, что прусский первый министр выражает при всяком случае свое желание находиться с Францией в самых близких и дружеских отношениях; Бенедетти полагает, что прусское правительство с радостью воспользуется случаем доказать свое желание мира этим действительно важным согласием.

– Надеюсь, Бенедетти не ошибается, – сказал император с легким вздохом. – Дорогой министр, – продолжал он после краткого молчания, наклонясь к маркизу, – вам известно, как старались в Вене привлечь нас к мысли образовать южный союз с Австрией во главе и тем создать непреодолимый оплот прусским стремлениям?

Маркиз отвечал поклоном.

– Но надобно вам сказать, – продолжал император, – что я не хочу вступать на эту дорогу – истинная сила Европы находится в руках Пруссии и России, и я хочу примкнуть к ним, ибо в союзе с ними перед нами открывается большое будущее. Я и раньше питал такие мысли, думал о восстановлении той могущественной решающей власти в Европе, которую создал Меттерних под именем Священного Союза; власть эта станет еще могущественнее, еще сильнее, когда место Австрии займет Франция. Фридрих-Вильгельм IV понимал меня, но его проницательный ум угас, он умер, великая мысль не осуществилась... Быть может, теперь она воскреснет. Когда мне уступят Люксембург и согласятся на то, что необходимо Франции для обеспечения ее будущего величия, тогда, мой дорогой министр, мои идеи примут определенную форму.

Маркиз поклонился.

– Мне известны идеи вашего величества, – сказал он, – и уже работал над их осуществлением. К сожалению, – прибавил он, опуская глаза, – мне не было дозволено продолжать свою деятельность в этом направлении...

Император протянул руку, которую министр почтительно пожал.

– Вы стали тогда жертвой своей служебной ревности, – сказал Наполеон ласково, – ревности, за которую я вам всегда был и буду благодарен.

– И если, – сказал маркиз, – это согласие не будет дано, то есть если сперва нам будут препятствовать, то необходимо будет проявить решительность и твердость, чтобы получить это согласие. Англия не станет мешать нам, а в Берлине пойдут на уступки, убедившись в серьезности наших намерений. Эйфория войны и упоение победой там поумерились, сложности внутренних отношений северного союза становятся ощутимее, и, конечно, в Берлине не захотят воевать ради такого пустяка. Я знаю Берлин, – прибавил маркиз с улыбкой. – И знаю, как тяжелы там на подъем.

Император смотрел на него с минуту.

– Вы знаете прежний Берлин, – сказал он наконец. – Я думаю, что теперь там быстрее принимают решения и ясно видят конечные последствия серьезного шага. Впрочем, – прибавил Наполеон, поднимая голову, – надобно действовать: поэтому напишите Бодену, чтобы он как можно скорее окончил переговоры о Люксембурге, а главное, хранил их до окончания в глубочайшей тайне – мы должны выступить с фактом уже совершившимся.

Маркиз встал и поклонился, спрятав бумаги в портфель.

Император также поднялся и сделал шаг к своему министру.

– Но в то же время не прекращайте переговоров с Австрией, – напутствовал его он. – Не следует отрезать себе путь отхода, чтобы, встретив препятствие нашим планам с одной стороны, мы могли положить на весы другой груз!

– Не беспокойтесь, государь, – отвечал маркиз. – Герцог Граммон будет продолжать свои беседы с Бейстом: они прекрасно находят общий язык, – прибавил он с едва заметной улыбкой. – И мы в надлежащее время можем обратить эти переговоры в нужную нам сторону, превратить их в основание политического здания или в поучительный материал для наших архивов.

– До свиданья, дорогой маркиз, – сказал Наполеон, милостиво помахав министру рукой, и тот с низким поклоном вышел из кабинета.

– Надобно отправить Бенедетти особую инструкцию, – промолвил император, – чтобы он понял всю важность вопроса и подготовил почву для него.

И он медленно повернулся в ту сторону комнаты, в которой темная портьера скрывала проход, ведущий в комнату его частного секретаря Пьетри. Кабинет опустел.

Через несколько минут отворилась входная дверь, и камердинер императора доложил:

– Ее величество императрица!

Императрица Евгения быстро вошла в кабинет, дверь без шума затворилась за нею.

Судя по осанке этой женщины, нельзя было предположить, что ей сорок один год. Черты ее лица, обрамленного чудесными золотисто-белокурыми волосами, потеряли уже выражение прежней юности, но и старость еще не наложила своей печати на античное лицо, чистые и благородные линии которого, казалось, сопротивлялись влиянию времени.

С невыразимой грацией сидела головка императрицы на длинной, красивой шее; большие глаза неопределенного цвета, хотя и не светившиеся глубоким умом, но выражавшие сильную впечатлительность, оживляли ее правильные, словно из мрамора, изящные черты.

На императрице было темное шелковое платье, густые, широкие складки которого ложились, сообразно моде, на пышный *tulle d'illusion*⁵, который в низших слоях общества заменялся

⁵ Разновидность тюля, прозрачной, гладкой или узорчатой материи, по своему строению средней между тканью и плетеным

отвратительным и безвкусным кринолином; единственным убором служила брошь из большого изумруда, осыпанного жемчугом.

Заметив, что в комнате никого нет, она удивленно заозиралась, ища глазами императора.

Когда ее взгляд упал на темную портьеру, закрывавшую ход в кабинет Пьетри, на ее лице отразилось понимание; подойдя к столу, Евгения медленно опустилась в кресло, которое недавно оставил император.

Ее взгляд бродил по столу, как бы отыскивая, чем заняться в ожидании супруга.

Заметив оставленное Наполеоном письмо, императрица с легким неудовольствием посмотрела на него. Она протянула руку и, взяв письмо кончиками тонких розовых пальцев, начала его читать.

– Какие уверения в дружбе! – вскричала она с едва заметной иронией.

Но вдруг глаза ее расширились, в лице появилось выражение напряженного внимания. Евгения быстро прочла письмо до конца, бросила на стол и, встав, стала ходить по комнате быстрыми шагами.

– Стало быть, дело начато! – воскликнула она, остановившись и вцепившись пальцами в спинку кресла. – Я опасалась, что ум императора не освободится от мысли заключить мир с Германией, этим плодом прусского честолюбия, и откажется от мщения. Это скудное вознаграждение, это ничтожное великое герцогство Люксембург, не должно подкупить Францию, побудив ее смотреть спокойно на расширение Германии, на усиление Италии, к вреду и гибели церкви!

Евгения сделала еще несколько шагов.

– Если осуществится эта комбинация, то будущее грозит нам гибелью, – был ее вердикт. – Этому не бывать: мы должны ждать и укрепляться, чтобы потом выступить со всеми силами Франции и достигнуть большего, чем Люксембург.

Потом взмахнула рукой.

– Но как расстроить то, что уже, по-видимому, сделано? – прошептала императрица, опустив голову.

Послышался шум, у портьеры стоял Наполеон.

Евгения живо повернула голову и улыбнулась супругу.

Император быстро подошел к ней, его лицо светилось радостью.

Жена протянула ему руку, которую Наполеон с юношеским изяществом поцеловал.

– Вы долго ждали? – спросил он.

– Одну минуту, – отвечала императрица. – Я зашла за вами, чтобы идти к Луи. Конно сказал мне, что малютку надо поскорее перевести в Сен-Клу.

– Да, – подтвердил император. – Для полного выздоровления сыну необходимы свежий воздух и спокойствие. Того и другого нет здесь, тем более что вскоре откроется выставка и займет все наше время... Приедут почти все монархи...

– Следовательно, на европейском горизонте нет ни одного облачка? – спросила императрица, улыбаясь.

– Как нет его на прекрасном челе моей супруги, молодеющей с каждым днем, – ответил император и позвонил.

– Позовите адмиральшу Брюа! – приказал он камердинеру.

– Адмиральша ожидает в приемной, – сообщил тот.

– Пойдемте к нашему Луи, – сказал Наполеон, подавая супруге руку.

Дверь отворилась, император ласковой улыбкой приветствовал подошедшую воспитательницу своих детей, вдову адмирала Брюа.

Дама пошла вперед, венценосная чета, весело болтая, отправилась за нею во внутренние комнаты.

Глава вторая

Одним солнечным мартовским днем, около двенадцати, к большому отелю на Итальянском бульваре, где размещались «Гранд Кафе» и знаменитый Жокей-клуб, подкатило синее купе, отличавшееся тем простым изяществом, которое можно встретить только в Париже и единственно у членов названного выше клуба, поставившего спорт на недостижимую высоту совершенства. На дверцах экипажа стоял вензель под красной короной; повинувшись кучеру, одетому в безупречную темно-синюю ливрею, красивая лошадь остановилась перед большой парадной дверью, слегка покачивая головой и испуская из ноздрей горячий пар, облачками разлетающийся в прозрачном мартовском воздухе.

Из экипажа вышел высокий, стройный мужчина в изящном черном костюме; большие темные глаза имели выражение спокойное, но печальное, благородное, с тонкими линиями, лицо отличала матовая бледность, с которой контрастировали черные усики. Голову брүнета покрывала надвинутая на лоб грациозная шляпа «Пино и Амур» с низкой тульей; затянутой в темно-серую перчатку рукой он прижимал к губам батистовый платок, предохраняя себя от весенней сырости.

Бросив испытующий взгляд на лошадь, он приказал кучеру ехать домой. Потом взял из поднесенной корзины букетик фиалок, бросил в корзину франк и легкими шагами поднялся по широкой лестнице, устланной толстым мягким ковром. Взойдя наверх, он вошел в переднюю, украшенную громадным резным буфетом со множеством серебряных приборов; сидевшие в коридоре клубные лакеи в светлых ливреях отворили ему дверь. Молодой человек лет двадцати с небольшим, белокурый, с открытым свежим лицом северогерманского типа, сидевший один в комнате за маленьким, красиво сервированным столом, приветливо посмотрел на вошедшего большими светло-голубыми глазами.

– Добрый день, граф Риверо, – сказал он. – Слава богу, вы пришли оживить скучное уединение, в каком я здесь томлюсь, точно отшельник. Не знаю, куда все девались сегодня? Я рано проехался верхом, нагулял громадный аппетит и заказал себе хороший завтрак: хотите положиться на мой вкус и позавтракать со мной?

– С удовольствием, фон Грабенов, – отвечал граф, отдавая шляпу лакею.

Находившийся поблизости дворецкий клуба, услышав ответ графа, мигнул прислуживавшему лакею, который быстро и неслышно, как подобает прислуге в хорошем доме, напротив фон Грабенова поставил прибор.

– Выпейте пока стакан хереса, – сказал немец, наливая золотистое вино из хрустального граненого графина и подавая стакан сидевшему напротив графу Риверо. – Вино не дурное и, полагаю, единственное такое в Париже.

Граф взял стакан с легким поклоном, сделал несколько глотков и потом произнес своим тихим, но звучным и мелодичным голосом:

– Вас давно не было видно, дорогой Грабенов. Впрочем, – прибавил он с полушутливой-полупечальной улыбкой, – в ваши лета напрасно спрашивать, какими делами вы заняты.

Щеки молодого человека вспыхнули румянцем.

– Я не совсем был здоров, – отвечал он, помедлив. – Немного простудился, и доктор приказал мне беречься.

Граф взял поданную золотисто-бурую камбалу и, выжимая сок из лимона, сказал шутливо:

– То-то я и встретил вас недавно в Булонском лесу возле каскадов, в закрытом купе... Вероятно, с пожилой дамой, которая ухаживает за вами во время болезни. К сожалению, – прибавил он с улыбкой, – лицо вашей дуэньи было закрыто такой густой вуалью, что я не мог его рассмотреть.

Большие, по-детски простодушные голубые глаза фон Грабенова со страхом и ужасом воззрились на графа.

– Вы меня видели? – спросил он с живостью.

– Я проехал у самой кареты, – отвечал граф. – Но вы так углубились в разговор со своей... сиделкой, что я не мог поклониться вам.

И он налил себе из большого хрустального графина стакан легкого ароматического семиллона, этой столь редко встречающейся в чистом виде жемчужины всех благородных виноградников Бордо.

– Граф, – произнес молодой человек после минутного размышления, бросив на собеседника доверительный взгляд, – ради бога, не говорите никому о том, что видели – я не хотел бы сделаться предметом общего внимания и допросов. Вам известны общепринятые воззрения и правила... Но в этом случае они не годятся.

Граф взглянул на молодого человека с выражением участия и на минуту остановил свой взор на его чистых голубых глазах.

– В моей скромности можете быть уверены, – сказал он, слегка наклонив голову. – Но я посоветовал бы вам, – продолжал он с дружеской, ласковой улыбкой, – опускать впредь занавески в своем купе, потому что не все ваши знакомые так молчаливы, как я.

Фон Грабенков взглянул на него с выражением благодарности.

– И еще, – продолжал граф Риверо после некоторого замешательства, – простите старику замечание, основанное единственно на моем глубоком участии к вам: в Париже много искусных силков, и самые опасные из них те, которые прикрываются скромными цветами невинного чувства.

Молодой человек посмотрел на него с удивлением.

– Усвойте мое замечание, – сказал граф, разворачивая поданную котлету *en papillote*⁶, – и припомните его в надлежащем случае.

Фон Грабенков дружески взглянул на графа, но ответить ему помешало появление старика лет семидесяти в наряде для верховой езды, который вошел твердыми, смелыми шагами.

Фон Грабенков и граф Риверо приподнялись с той вежливостью, которую надлежит выказывать старости благовоспитанной молодости.

– Просто завидуешь вам, – сказал вновь прибывший, отдав шляпу и хлыст прислуге и махнув приятелям. – Так завтракаешь только в счастливое время, когда желудок и сердце молоды; впоследствии испортившаяся машина требует другой диеты.

С поданной ему дворецким серебряной тарелки старик взял рюмку мадеры и кусок нежного, мягкого печенья, которое, под маркой «Madeleine de Commerce», занимает не последнее место в числе превосходных вещей, доставляемых провинциями столице Франции.

– Конечно, барон Ватри шутит, говоря о болезнях своего возраста, – сказал граф Риверо. – Я вчера видел вас на рыжей лошади, с которой едва ли справился бы сам и которой вы, однако, управляли удивительно легко и твердо. Вы смеетесь над влиянием всеокрушающего времени!

Явно польщенный, старик улыбнулся и сказал:

– К сожалению, это влияние непреодолимо и наконец берет верх над нами, как бы мы ни боролись с ним.

Пока он обмакивал печенье в мадеру, отворилась дверь, и в комнату влетел одетый по последней моде молодой человек, бледное, несколько утомленное и помятое лицо которого выдавало принадлежность к английской знати.

– Откуда примчались, герцог Гамильтон, в такой ранний для вас час? – спросил Ватри.

⁶ Котлета, подающаяся завернутой в бумагу.

– Вчера я долго пробыл в «Кафе Англе», – отвечал молодой герцог, кланяясь Ватри, и взмахом руки поприветствовал остальных господ. – У нас был отличный ужин, чрезвычайно забавный...

A minuit sonnant commence la fête,
Maint coupé s'arrête,
On en voit sortir
Des jolis messieurs, des dames charmantes,
Qui viennent pimpantes
Pour se divertir, —

напевал он, отчаянно фальшивя, арию Метеллы из оперетты Оффенбаха «Парижская жизнь». – Восхитительно!

– Потому-то и *cette mine blafarde*, – сказал Грабенков, улыбаясь, – это последствия... как поет дальше Метелла...

– А теперь, – сказал герцог, – я буду стрелять из пистолета с Поэзом и некоторыми другими – Мы бились об заклад, кто пять раз кряду попадет в червонного туза – поэтому я хочу подкрепить себя разумным завтраком. Коньяку и воды! – крикнул он метрдотелю, – и велите приготовить мне несколько рубленых котлет – я недавно дал повару рецепт. Но побольше перцу, перцу; французские повара не понимают английских глоток.

Лакей подал бутылку коньяку и графин воды; герцог налил в стаканчик обе жидкости в равной пропорции и одним глотком выпил его.

– А! – вскричал он. – Это оживляет тело!

– *A propos*⁷, граф Риверо, – сказал герцог, – что это за вновь появившаяся звезда из вашего отечества, которая несколько времени является по вечерам около озер и ослепляет всех своей красотой и изысканностью экипажей? – Мне говорили, что это маркиза Палланцони... Знаете вы что-нибудь об этой лучезарной королеве красоты?

– Я немного знаком с нею, – отвечал граф спокойным, равнодушным тоном, – потому что имел сношения с ее семейством, которое принадлежит к числу самых древних итальянских фамилий. Мужа ее я не встречал; он, кажется, стар и хвор, и молодая красавица хочет развлечься в Париже от своих забот о больном супруге. Я несколько раз был в ее салоне и обнаружил в хозяйке ум и грацию.

– Отлично! – вскричал герцог. – Следовательно, вы можете представить меня этому удивительному феномену, который очаровывает все сердца?

– С большим удовольствием, – отвечал граф. – Маркиза принимает каждый вечер, если бывает дома.

Между тем фон Грабенков и графу Риверо подали в маленьких севрских чашках ароматный кофе.

– Я раб дурной немецкой привычки курить, – сказал фон Грабенков, вставая. – И потому удалюсь на время в курительную.

– Поедьте, господа, со мною стрелять! – сказал герцог Гамильтон. – Вас нигде не видно, Грабенкову. – Это немецкое имя он выговорил по-английски. – Вы заделались отшельником.

– Позвольте посоветоваться с сигарой, – отвечал молодой человек. – Могу ли я соперничать с таким отличным стрелком, как вы? – И, вежливо поклонившись барону Ватри, немец пошел к двери.

– Вы также курите, граф? – спросил он графа Риверо, который встал и пошел за ним.

– Хочу просмотреть в библиотеке кое-какие журналы, – отвечал граф.

⁷ Кстати (лат.).

Оба вышли из столовой.

– Признаться откровенно, – сказал фон Грабенев, когда затворилась дверь, – я использовал свою страсть к курению как предлог уйти – у меня нет желания быть в обществе, от которого не так-то легко отделаться.

Лакей подал графу письмо на серебряном подносе.

– Камердинер графа сейчас только принес его.

Граф бросил быстрый взгляд на конверт: на нем синими чернилами было начертано: *Maison de S. M. l'Impératrice, Service du premier Chambellan*⁸.

– Есть у вас, Грабенев, несколько свободных минут? – спросил он.

– О да, есть! – отвечал тот.

– Я отослал свой экипаж: не довезете ли вы меня до моего жилища на Шоссе д'Антен? Это в нескольких шагах отсюда.

– Я в вашем полном распоряжении, граф.

Они сошли с лестницы, по знаку швейцара подъехало красивое купе Грабенева; оба сели в экипаж.

Через несколько минут граф Риверо простился с молодым человеком у своего дома на Шоссе д'Антен.

Грабенев сказал кучеру номер дома на улице Нотр-Дам-де-Лоретт, и легкий экипаж, промчавшись рысью по бульварам, остановился перед большим домом на упомянутой выше улице. Молодой человек вышел из купе, приказал кучеру ждать и стал подниматься по довольно узкой, но чистой лестнице.

Передняя первого этажа оканчивалась большой стеной с матовыми непрозрачными стеклами; тут имелись две двери, и у каждой из них по стеклянной ручке к звонку.

Под одной из этих ручек находилась фарфоровая дощечка с простой черной надписью: «*Mr. Romano*». У другого звонка не было никакой дощечки.

Молодой человек позвонил у второй двери.

Старая служанка, горничная и экономка в одном лице, отворила дверь. Фон Грабенев вошел в маленькую переднюю.

– Мадемуазель Джулия дома? – спросил он и, не дожидаясь ответа дружески кланявшейся старухи, быстро подошел к двери, располагавшейся слева от входа, отворил ее и вступил в светлый, небольшой салон, убранный со всем восхитительным комфортом, какой умеют придать французы интерьеру своего жилища.

В глубоком кресле, обитом светло-голубой шелковой материей и окруженном, почти скрытом, группой большелистных растений, роз и гелиотропов, сидела молодая девушка в простом домашнем наряде серого цвета.

Ее классически прекрасные черты, дышавшие первую молодостью, отличались обольстительной смуглостью итальянки; блестящая, черная как смоль коса была уложена вокруг головы, без всякого следа тех чудовищных причесок, которые стали распространяться в то время. Большие миндалевидные глаза задумчиво смотрели вверх; красивые руки покоились на книге, лежавшей на коленях, – погрузившись в собственные мысли, девушка забыла о чтении.

Грустны и печальны, вероятно, были эти мысли, потому что свежие розовые губы передергивались, на длинных ресницах застыла слеза.

При входе молодого человека в ее взгляде блеснул луч; она повернулась к двери, и радостная улыбка мелькнула на устах, но не сумела, однако, разгладить скорбную морщинку, залегшую вокруг рта.

Фон Грабенев подбежал к молодой девушке.

⁸ Резиденция ее величества императрицы. Служба главного камергера (*фр.*).

– Я не могу долго пробыть без моей Джулии! – воскликнул он, с восхищением глядя на девушку, которую поцеловал в лоб. – Я бросил приятелей, чтобы поспешить сюда.

Он придвинул стул, сел и с любовью стал смотреть ей в глаза, прижимая ее руку к своему сердцу.

Задумчивым взглядом следила она за всеми его движениями и тихо проговорила:

– Как хорошо мне, когда ты здесь... Когда я вижу твои чистые, ясные глаза, мне кажется, что передо мной дивное голубое небо моего отечества, улыбавшееся мне только в детстве и которое, однако, я люблю и к которому стремлюсь всем сердцем.

– Ты грустна? – спросил он, целуя ее руку. – Посмотри, как идет к твоим черным волосам эта нависшая роза – она так и просится украсить тебя.

Он протянул руку к бутону, касавшемуся темной косы девушки.

– Не тронь цветка, – сказала она печально, – зачем отнимать у него и без того непродолжительную жизнь? Для меня цветы не могут больше служить украшением, – прибавила Джулия тихо, поднимая руку.

Но молодой человек уже встал и готовился сорвать полураспустившуюся розу. Вдруг он отдернул руку с тихим невольным криком боли; роза упала на колени молодой девушки.

– *Non son rose senza spine!*⁹ – промолвила она с улыбкой, но грустным голосом, подняв цветок и задумчиво рассматривая его.

– Но ты, моя милая, роза без шипов! – сказал молодой человек. Он приколот бутон к блестящей черной косе и радостно посмотрел на свою милую.

Та глубоко вздохнула.

– О! – сказала она грустно. – Как остры и колючи шипы в моем сердце, которое цветет для тебя; но шипы эти не выходят наружу, как у цветущей розы, а с болью вонзаются глубоко в мою грудь!

– И как зовется злой шип, мучающий тебя даже в моем присутствии? – спросил Грабенов с оттенком упрека.

Молодая девушка встала, заглянула своими глубокими черными глазами в его открытые, чистые очи и медленно, серьезно сказала:

– Настоящее – цветок моей жизни; мысли о прошедшем и помыслы о будущем, то, что счастливые люди называют памятью и надеждой, – вот мои острые, колючие шипы! Быстро увянет цветок, и в моем сердце останутся одни шипы! У тебя есть прошлое, – продолжала она, глядя с любовью на молодого человека, – у тебя есть воспоминанье о счастливом детстве... есть надежда... будущее... А у меня что есть?

Тон ее был скорбным, а слеза отуманила взгляд синевато-черных глаз.

Пораженный, молодой человек молчал; он, казалось, не мог найти ответа на вопрос, вырвавшийся из взволнованного сердца молодой девушки.

Нежно прижал он ее голову к своей груди и поцеловал слезу, блиставшую на ее ресницах.

– Ты мне никогда не рассказывала о своем прошлом, о своем детстве! – сказал он тихо молодой девушке.

– О, если б я могла забыть его! – вскричала последняя. – И жить только настоящим! Быть может, я и забыла б его, – продолжала она грустно и мрачно, – если бы настоящее имело продолжение в будущем... Но теперь! Что сказать тебе о своем прошлом? – продолжила молодая девушка после минутной паузы, печально опустив глаза вниз. – Мое прошлое просто: серая картина на сером фоне! Я знаю, Италия мое отечество. Знаю это не по одним рассказам, не потому что мой первый детский лепет был на нежном, звучном языке Данте и Петрарки, нет! – вскричала Джулия, и глаза ее блеснули. – Я знаю это потому, что в моем сердце отражается ясное голубое небо, сверкающее море с его ропшущими волнами, с его грозными, величествен-

⁹ Не бывает розы без шипов (*ит.*).

ными бурями; потому что перед моим внутренним оком восстают темные тенистые рощи, мраморные палаццо, блестящие статуи; потому что изнываю от желания поцеловать священную почву родины, умереть, чтобы покоиться в той стране.

Она умолкла и снова задумчиво посмотрела вдаль. Молодой человек безмолвно поцеловал ее руку.

– И с этим желаньем в сердце, – продолжала Джулия, – с душою, полной этих картин, которые возникают во мне тем явственнее и могучее, чем старше и развитее становлюсь, – я должна жить одна, с печалью моего сердца, в этом шумном, пыльном, волнующемся Париже.

– Но твои родители, твоя мать? – спросил молодой человек.

Она устремила на него глубокий взгляд и потом грустно опустила глаза.

– Это-то и есть самое прискорбное! – воскликнула девушка. – Мое сердце страстно желало полюбить мать, всякое биение его несло к матери, но не встретило ни любви, ни разумения; среди беспокойной бродячей жизни, какую мы вели, то в роскоши и безумном мотовстве, то в крайней нужде, моя мать не находила времени для своего ребенка...

Она покраснела и опустила голову.

– Мой отец, – продолжала она потом, – заботился обо мне с редким участием, он приглашал учителей и, сколько было в его силах, давал мне образование; даже в самой крайней нужде папа всегда находил средства для моего воспитания, и это был единственный пункт, в котором он, столь уступчивый, кроткий, решительно восставал против моей матери. Я любила его за это; мое сердце стремилось привязаться к нему, но, насколько верно и неустанно заботился он обо мне, настолько был недоступен нежности моего сердца. Какая-то тоскливая боязнь светилась в его глазах, когда папа смотрел на меня, и нередко с трепетом и со слезами отворачивался, когда я подходила и целовала ему руку, со словами любви и благодарности. – Таким образом, я была одинока, – подытожила Джулия печально, – и вела замкнутую, уединенную жизнь, главным смыслом которой было вечное непреодолимое и не исполнившееся стремление к далекой родине, желание разгадать загадку, которая окружала мою уединенную и однообразную жизнь!

– Бедная Джулия! – сказал молодой человек с участием.

– Когда я выросла, – продолжала она с опущенными глазами, – отношение матери ко мне изменилось. Она присматривала за мною, заботилась о моем туалете... заставила петь и хвалила мой голос... убрала мне голову и говорила о цветах, которые особенно идут мне... Но все это делалось безучастно, холодно и без любви; мать пугала и наводила тоску. Потом она стала брать меня с собой, возила в Булонский лес, когда там собирался весь Париж; в театр, если позволяли средства; призывала к себе в комнату, когда у нее были гости – в прочее время меня туда не пускали. Мать заставляла меня петь – говорили, что я обладаю талантом и хорошим голосом, что я красива... Но все это произносилось тоном, который мучил меня, оскорблял... ужасал! Так, – продолжала она тише, бросив на молодого человека взгляд, в котором выражались и стыд и любовь, – ты встретил меня раз вечером в авансцене театра-варьете... Ты знаешь, как помогли тебе сблизиться со мною...

– И ты раскаиваешься в этом? – спросил он с любовью, тихо опуская руку на ее плечо.

Она нагнулась к нему, опустила голову на его грудь и тихо заплакала.

– Я любила тебя, – прошептала она, – но разве ты думаешь, что мать не стала бы так же благосклонно смотреть на нашу любовь, не помогала бы тебе, не толкнула бы меня в твои объятия даже в том случае, если ты не любил бы меня, а мое одинокое сердце не отвечало твоему? О! – вскричала она с рыданьем. – Для нее довольно и того, что ты богат!

Молодой человек молчал, его кроткие глаза с грустью смотрели на приникшую к нему стройную фигуру.

– Когда я покоюсь у твоего сердца, – сказала Джулия потом, – я забываю все, и душа становится так полна счастья, как бывают счастливы выросшие в тени и потом пересаженные в свежую землю цветы, открывая на солнце свои чашечки... Но когда потом вспомню обо

всем действительном, когда подумаю, что все окружающее меня – эта роскошь, этот блеск – не подарки любви... О, тогда мне хочется бежать, бежать в пустыню, в тишину монастыря, в вечное спокойствие могилы. Да и что иное ожидает меня в будущем? – сказала девушка громче, выпрямившись и грустно смотря на молодого человека. – Какую другую будущность имеет минутное сновидение, как не пробуждение во тьме, тем более страшное, что в моем сердце горел луч света! Ты возвратишься на родину, к своим, ты позабудешь в роскошной жизни краткую грезу нашей любви, а я... пойду ли по торной, общей столь для многих дороге, ведущей к безысходной бездне? И что спасет меня от этой стези презренного разврата? Не рука матери, которая скорее толкнет меня на нее, а единственно монашеское покрывало или могила!

Чем безысходнее становилось горе молодой девушки, тем печальнее делались его взоры.

– Бедная Джулия, – повторил он тихо и нежно, – какие грустные воспоминанья детства! Моя юность, – продолжал молодой человек, – была так же одинока и однообразна, но богаче и счастливей! – И его ясные, чистые глаза как будто обратились к чему-то далекому. – Там, близ берегов Балтийского моря, – продолжал он, – лежит мое родовое имение: старый замок, из которого видны белые дюны и волнующееся море. Он окружен величавыми, благоухающими, вечнозелеными сосновыми лесами. Там протекла моя юность тихо и уединенно, под надзором строгого, серьезного отца и любящей, кроткой матери, у которых я был единственным сыном; меня обучал домашний учитель, и в свободные часы высоким моим наслаждением было бродить по темному, шумливому бору или лежать на дюнах, смотреть на беспредельное море и внимать вечной мелодии, которую напевали морские волны, то подернутые легкою рябью и залитые солнечным светом, то бурные, грозные, в борьбе с черными тучами и могучими ветрами.

Молодая девушка опустила пред ним на колени, сложила руки и смотрела на него своими большими черными глазами, на которых еще не просохли слезы.

– И моя молодость была полна мечтаний, – продолжал Грабенев, – но последние не стремились вдаль, подобно твоим, не летели к светлому югу, к миртовым и померанцевым рощам. Нет, мои грезы населяли печальные леса и безмолвные дюны могучими образами древних северных богов, героями тех саг, которые не звучат сладко, как мечты твоего отечества, но наполняют душу звоном оружия! И потом я мысленно шел по следам, которые всюду оставлены в стране тем величественно-могучим, важным орденом, который пришел из Палестины через Венецию к Янтарным берегам, где создал цветущее удивительное государство. И во мне, еще мальчишке, рождалось страстное желание носить железную броню и белую мантию, которая когда-то равнялась по своей важности княжеской багрянице!

Он помолчал немного, затем продолжил:

– Вот такие грезы наполняли мою юность, и когда я потом вступил в свет, где, вправду сказать, ничего не видел, кроме университета и прошлогоднего похода, когда был легко ранен, я нашел много прекрасного, да только не встретил идеалов своих грез, величественных образов северных саг, духа священного рыцарства. Только здесь, – сказал юноша, нежно проводя рукою по блестящим волосам девушки, – здесь, у тебя, воскресают грезы моей юности, у тебя, моя Фрейя, богиня моей любви!

Она молча слушала его, жадно впиваясь глазами в его лицо, светившееся внутренним волнением, в его глаза, горевшие ярким пламенем.

– Знаешь ли, – сказал он задумчиво, – когда я сижу около тебя и смотрю на нежный, глубокий пламень твоих глаз, а потом вспомню о своей родине, тогда мне приходят на память стихи поэта, моего соотечественника. И как бы невольно подчиняясь течению своих мыслей, он задушевым голосом прочитал будто про себя:

На севере диком стоит одиноко

На голой вершине сосна,
И дремлет качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горячем
Прекрасная пальма растет.

– Твой язык звучен, – сказала она, – объясни мне, что значат эти стихи?

Он перевел стихотворение на французский язык, Джулия с глубоким вниманием слушала его.

– Но я нашел свою пальму, – сказал он и, быстро встав и подняв девушку, продолжал громко: – И никогда больше не оставлю ее... Я увезу ее с собою на мою прекрасную, тихую родину на севере, и огонь моего сердца заменит ей лучи южного солнца.

Сильное воодушевление оживляло его черты, глубокое чувство светилось в его очах.

Почти в испуге отскочила от него молодая девушка.

– Ради бога, – сказала она дрожа. – Не говори таких слов... не вызывай в моей душе картин, которые никогда, никогда, никогда не осуществляются!

– Почему же нет? – спросил Грабенков. – Разве ты не поедешь со мной?

– Поехать с тобой? – переспросила Джулия, и в ее взгляде блеснула радость. – О боже мой! Но... – продолжала она, потупив глаза, – подумай о своих родителях, о своей матери. – Как примет она девушку без имени, которая, – голос ее упал, руки сцепились, – не может тебе дать и того, что приносит своему супругу самая беднейшая и самая жалкая? Никогда, никогда, – повторила она печально и мрачно, – никогда не перенести мне этого! Иди своим путем, и пусть я буду для тебя приятным воспоминанием... У меня также останется свое воспоминание, радостный луч в предстоящем одиночестве!

Молодой человек задумался.

– Я не боюсь борьбы со светскими предрассудками за тебя и за мою любовь! Но, – продолжал он весело, – у нас еще хватит времени подумать об этом – я пробуду здесь все лето, ты не всегда будешь так печальна, позволишь мне начать борьбу за тебя и за мое счастье. И обещаю тебе, – сказал он громко, торжественно, – я не покину тебя и не успокоюсь до тех пор, пока не исцелю всех ран, нанесенных тебе судьбой!

Джулия покачала головой.

– Мне хотелось бы услышать твой чудесный голос, – попросил он. – Оставим до поры будущее и насладимся настоящим. Дай помечтать при звуках твоей песни, которые вызывают в моей душе картины детства.

И, нежно взяв девушку за руку, он подвел ее к пианино, стоявшему у окна. На маленьком столике лежали ноты.

Она стала перебирать их.

– Я спою тебе песенку, – сказала Джулия, – которая удивительно идет к моему положению. Песню, которую немецкий композитор вливает в уста певцу моего отечества; я выбрала ее из партитуры и аранжировала для своего голоса; она составляет, так сказать, связь между твоим и моим отечеством, потому что ее написал немец во славу Италии.

Она положила рукописные ноты на пюпитр и, пока молодой человек садился в кресло, с любовью следя за ее движениями, запела нежным, звонким и удивительно сильным голосом арию Страделлы из оперы Флотова¹⁰:

¹⁰ Фридрих фон Флотов (1812—1883) – немецкий композитор. Здесь речь идет о его опере «Алессандро Стра-

Italia, Du mein Vaterland,
Wie schön bist Du zu schauen!¹¹

дела» (1844).

¹¹ Италия, страна моя, как славно воссияешь ты! (нем.).

Глава третья

Едва слышный тонкий запах цветущих роз и фиалок, смешанный с ароматом, напоминавшим испанский жасмин, наполнял салон императрицы Евгении в Тюильри. Здесь обретался целый легион мелких безделушек, украшающих салон каждой знатной дамы, обладающей вкусом: альбомы, рисунки, старинный северский и саксонский фарфор, античная бронза – одним словом, все те вещи, которые, не имея настоящей цели и пользы, так сильно украшают жизнь, привлекая взгляд то сюда, то туда и наполняя душу вечно сменяющимися образами и вечно новыми мыслями.

В большом мраморном камине горел несильный огонь; стоявший пред ним экран из цельного зеркала в простой раме из позолоченной бронзы, защищал от непосредственного жара, не скрывая, однако, веселой игры пламени.

Около огня сидела на козетке императрица в утреннем наряде сдержанных тонов; перед ней лежали на большом столе тщательно исполненные эскизы предметов дамского туалета с обозначением цветов.

Рядом располагалась на низеньком стульчике подруга и наперсница императрицы – принцесса Анна Мюрат, бывшая полтора года замужем за одним из первых французских вельмож, герцогом Муши, принцем Пуа, из угасающей фамилии Ноай, – дама лет двадцати шести, высокая и полная, с приятным выражением лица, своей фигурой несколько напоминавшая английский тип.

Взгляд герцогини покоился на листах, которые императрица, внимательно рассмотрев, перекладывала своими тонкими жемчужно-белыми пальцами.

– Во всем этом я не вижу настоящего вкуса, – сказала наконец Евгения, отбросив рисунки, и облако неудовольствия омрачило ее лицо. – Повторения! Ничего, кроме повторений, или безобразных крайностей, которые не украшают, а только портят человеческую фигуру!

– Вашему величеству надобно самой подать идею для сезона, – сказала герцогиня с улыбкой. – Вы не можете требовать творческих мыслей от бедной швеи. Швея – тот же актер, который передает мысли поэта.

Императрица задумалась.

– Знаешь ли, милая Анна, – сказала она спустя некоторое время. – Надобно положить конец широким платьям – преувеличения довели эту моду до безобразия! Притом будет выставка, придется много ходить, чтобы видеть чудеса искусства и промышленности всего света. Целое помещение выставки оказалось бы тесно, если бы собрались туда все дамы в широких платьях, и для мужчин не осталось бы места, – прибавила Евгения с усмешкой.

– Вы, ваше величество, произведете переворот, когда объявите смертный приговор широким платьям и принудите дам носить узкие, – сказала герцогиня. – При этом потребуется новая обувь. Я предвижу всеобщее волнение, так сказать, революцию, у которой, без сомнения, найдется и своя оппозиция, несмотря на могущество и безграничное господство вашего величества в области моды!

– Тем лучше, – отвечала монархиня задумчиво. – Эти мелкие революции всегда отводят мысль от великого переворота, который, – тут с ее уст сорвался вздох, – всегда дремлет в недрах французской нации и просыпается, когда ничто иное не занимает наших соотечественников. И мне кажется, что этот переворот уже просыпается, потягиваясь и зевая! Однако же, – продолжала она, меняя тему и беря карандаш, которым провела несколько линий на полях лежащего перед ней рисунка, – где же мы найдем приличную моду?

И перечеркнула сделанный ею абрис.

– Нелегко придумать красивый и удобный наряд! Кстати, – заговорила Евгения немного спустя, – сегодня я принимаю римского графа Риверо, который здесь поселился и о котором я тебе рассказывала. Он, должно быть, интересная личность; аббат Бонапарте горячо рекомендовал его мне, а также принцесса Констанция, – знаешь, аббатиса монастыря Крови Христовой в Риме. И графиня Распони, со своей стороны, писала мне о нем из Равенны; все говорят о нем как о человеке с высоким умом и глубокой преданностью Святому престолу и с неутомимой ревностью трудящемся в пользу святой церкви. Такие люди очень редки в настоящее время. Видела ты его или слышала о нем?

– Я не видела его, – отвечала герцогиня, но слышала о нем от моего брата Иоахима, который выставляет графа совершенством и хвалит его прекрасных лошадей!

– Я никогда не встречала прежде этого имени, – сказала императрица. – Папа пожаловал его римским графством, нунций представлял его императору и мне в последний приемный день, но упомянутые лица особенно рекомендуют его мне, и все говорят, что для меня, вероятно, будет чрезвычайно интересно ближе познакомиться с графом, который во многих отношениях может быть полезен церкви. Я с нетерпением жду встречи с ним.

– Господин барон Пьерес! – доложил камердинер императрицы. Последняя кивнула головой, и в комнату вошел барон де Пьерес, первый шталмейстер ее величества, красивый стройный мужчина в черном утреннем сюртуке.

– Испрашиваю приказаний вашего величества о выезде, – сказал барон, подходя с глубоким поклоном к императрице.

– Погода хороша, – сказала Евгения, приветствуя де Пьереса ласковой улыбкой и потом бросив взгляд в окно, через которое лились яркие солнечные лучи. – Я поеду в открытой коляске в Булонский лес, за два часа до обеда; вы будете сопровождать меня, любезный барон?

– Приказание вашего величества будет исполнено, – отвечал барон.

– Я предполагаю длительную прогулку, – сказала императрица, – и если для вас утомительно ехать верхом у дверей, то...

– Верховая езда в такую прекрасную погоду доставит мне большое удовольствие, – прервал ее де Пьерес с живостью. – И высокую честь, – он поклонился, – ехать возле своей государыни.

– А ты, милая Анна, поедешь со мною? – спросила Евгения, обращаясь к герцогине Муши.

– Если ваше величество позволит мне сперва съездить домой, чтобы переменить туалет.

– Но, дорогой барон, что у вас там тщательно завернуто в бумагу? – поинтересовалась императрица, указав на пакет в тонкой веленовой бумаге, перевязанный красными шелковыми шнурами. – Не модель ли нового седла или миниатюрный экипаж вашего изобретения?

– Ни то ни другое, – отвечал Пьерес с улыбкой, – принесенная мной вещь не принадлежит к моей области. Но я знаю, что она возбудит ваше любопытство.

Он развязал шелковый шнурок и снял бумагу. Потом поставил перед императрицей на стол нечто вроде ящичка, обтянутого черным бархатом.

Императрица и герцогиня с напряженным вниманием следили за манипуляциями барона.

Пьерес поднял крышку и выставил перед императрицей чашку и молочник из белого фарфора.

– Это маленький сервиз, – сказал он тогда, – который употребляла королева Мария-Антуаннета при своих простых завтраках в Трианоне. Как видите, ваше величество, цветочная гирлянда образует вензель королевы. Тогдашний кастелян Трианона взял к себе этот сервиз, который хранился до настоящего времени в его семействе. Сервиз точно принадлежал королеве, в этом нельзя сомневаться. Я прослышал о нем и, зная, что ваше величество сильно интере-

суетесь всем, что напоминает королеву Марию-Антуаннету, не упустил случая принести вам эту реликвию.

Императрица взяла чашку и стала внимательно разглядывать ее. Лицо Евгении выражало печаль и скорбь.

– Она приказала сделать свой вензель из розовых гирлянд, – произнесла наконец императрица тихо и задумчиво, – и розами усыпана была тогда ее жизнь. Бедная, несчастная королева! Кто мог бы сказать в то время, что скоро поблекнут эти цветы и что последний удар твоего горячего сердца замрет в бесцветной пустыне жгучего, одинокого горя! Края этой чашки касалась она свежими улыбающимися устами, – продолжала императрица мечтательно. – Как скоро сжались эти уста в безвыходном горе и выпили до дна страшную чашу жестоких страданий!

Долго смотрела она на маленькую простую чашку и слеза дрожала на ее ресницах.

Герцогиня Муши взяла руку императрицы и припала к ней губами.

– Как прекрасно... и как великодушно со стороны вашего величества вспоминать на высоте величия и счастья с таким теплым чувством о той несчастной государыне, которая некогда восседала на французском престоле! – сказала Анна.

– На французском престоле! – прошептала императрица, не отводя глаз от чашки. – Прекрасен этот престол, но гибелен... Он ей принес преждевременную, мученическую смерть, но она была велика в своем падении... Была королевой на эшафоте... Быть может, этот престол рухнет когда-нибудь и под нами, – произнесли ее губы беззвучно, а мысли, казалось, наполнились мрачными картинками; уныло потупился ее взгляд.

Но вскоре Евгения быстро подняла голову с грациозным, ей одной свойственным движением красивой шеи.

– Благодарю вас, барон де Пьерес, – сказала она с ласковой улыбкой, – что передали мне вещь, принадлежавшую королеве-мученице. Надеюсь, ее можно приобрести и дать ей место в храме воспоминаний о царственной мученице, который я воздвигаю в тишине.

– Этот сервиз принадлежит старику, скопившему небольшое состояние своими трудами, – отвечал барон. – Он живет один с женой, детей у них нет. Он не хочет продавать вещь, унаследованную от родителей, но, как говорил мне, почтет за удовольствие подарить ее своей государыне.

Глаза императрицы заблестали радостью.

– Как было бы прекрасно быть французской императрицей, если бы такие настроения разделялись всеми! – воскликнула она. – Не передадите ли, барон, всю эту историю императору и не попросите ли его дать старику орден Почетного легиона? Я сама поговорю с мужем об этом сегодня. Велите сделать полный чайный сервиз из серебра, с моим вензелем – я должна отблагодарить за подарок. Когда сервиз будет готов, вы приведете ко мне этого доброго старика, я хочу его видеть.

Барон поклонился.

– Приказания вашего величества будут немедленно исполнены.

Императрица задумалась на минуту. Потом взяла карандаш и один из листов, лежавших на столе.

– Благодарю вас, барон, – сказала она с живостью, – не только за прекрасный подарок, но и за мысль, внушенную мне воспоминанием о несчастной королеве!

И опытной рукой набросала на бумаге эскиз.

– Мы отыскивали моду для сезона, милая Анна, – обратилась Евгения к подруге. – Главная трудность состояла в том, чтобы прикрыть бюст, сообразно узкому и короткому платью. Большие шали, мантильи и накидки, которые мы носим теперь, не годятся: они хороши для широких платьев. Теперь я нашла, что было нужно... вот, – продолжала она, передавая герцогине рисунок, – это платок, как носила его несчастная королева. Вопрос решен!

– *Charmant* – прелестно и просто! – вскричала Анна. – Это в самом деле вдохновение, за которое европейские дамы должны благодарить барона, – прибавила она с улыбкой.

– Иди сюда, – сказала императрица вставая. – Сейчас же и опробуем!

И, взяв кашемировую шаль, которая лежала около герцогини, государыня сложила ее и надела на свою наперсницу, потом связала оба конца сзади, в точности так, как изображалось на портретах высокой и благородной пленницы Тампля и Консьержери.

– Как вам это нравится, барон? – спросила императрица, осматривая герцогиню со всех сторон.

– Восхитительно! – воскликнул де Пьерес. – В самом деле, – продолжал он с поклоном, – туалет не может не быть прелестным, когда его придумали ваше величество и когда его носит герцогиня!

– И он будет модой для сезона, – сказала императрица, – все дамы должны надеть его из уважения к памяти несчастной королевы. И пусть новый фасон называется «Fichu Marie Antoinette»¹².

– Как благодарен я судьбе, – сказал барон, улыбаясь, – что она позволила мне присутствовать при великом миге рождения нового закона для прекрасной половины человеческого рода!

Послышался стук в дверь.

Камердинер otvorил ее, и в комнату вошел первый камергер императрицы, герцог Таше де ла Пажери.

– Граф Риверо, которому ваше величество сделали честь назначить аудиенцию, ожидает ваших приказаний, – сказал герцог.

– Я не заставляю графа ждать, – отвечала императрица, вставая, – введите его, дорогой герцог! А потом мне нужно поговорить с вами, – прибавила она с ослепительной улыбкой.

Затем легким наклоном головы отпустила де Пьереса.

– До свиданья, любезный барон... До свиданья, моя дорогая! – И она протянула герцогине руку, которую та поцеловала.

Барон де Пьерес и герцогиня Муши вышли из салона.

Герцог Таше де ла Пажери ввел графа, представил его императрице и потом ушел.

На графе были черный фрак и белый галстук; звезда ордена Пия, высокой папской награды, украшала его грудь.

Он низко поклонился, подошел на три шага к императрице и стал ожидать, когда Евгении будет угодно заговорить.

Императрица пытливым взглядом окинула эту спокойную, холодную и важную фигуру. Ответив на почтительный поклон графа, она обратилась к нему с ласковой улыбкой:

– Очень рада ближе познакомиться с вами, граф; мои родственники в Италии писали мне о вас так много хорошего, что я почувствовала сильное желание познакомиться с человеком, обладающим столь многими необыкновенными качествами!

– Я опасаюсь, – отвечал граф спокойно, – что эти высокопоставленные лица, вниманием которых я горжусь, представили меня, по своей благосклонности, в особенно лестном виде. Ваше величество, быть может, уже заметили, что действительность далеко не соответствует портрету. Но я вполне могу притязать на одно качество: а, именно, на твердое и сильное желание служить со всей энергией делу святой церкви, которой и ваше величество оказывает постоянную защиту.

– И которая, несмотря на эту защиту, утесняется все больше и больше, – промолвила императрица со вздохом. – Скажите, граф, – продолжала она, садясь в кресло и делая графу знак занять место, только что оставленное герцогиней Муши. – Скажите, в каком положении

¹² Косынка Марии-Антуанетты (фр.).

дела в Италии? На что надеетесь или чего опасаетесь вы относительно безопасности Святого престола и достоинства Святого Петра?

– Я надеюсь на многое и боюсь всего, – отвечал граф. – В зависимости от того, станет ли Франция защищать Рим или откажется от него. Если Франция, если император, – сказал он, прямо и пронизательно смотря в глаза Евгении, – припомнит, что обладание этой прекрасной и могущественной страной связано с преимуществом называться старшим отцом церкви...

– Вы считаете возможным, – с живостью перебила его Евгения, – чтобы здесь могли забыть это преимущество и связанные с ним обязательства?

– Государыня, – сказал граф спокойно и веско, – будущее сокрыто от меня, и мне неприлично выводить пророческие заключения из прошлого, которое говорит мне, что французское оружие сокрушило при Сольферино¹³ древний оплот права, и дало возможность необузданным волнам Итальянского королевства грозно потрясать в основании скалу Святого Петра.

Императрица поникла головой и принялась разглаживать складки платья.

– Но если, – продолжал граф, – несмотря на Сольферино, а быть может, благодаря Сольферино и его последствиям, я убежден, что Франция чаще вспоминает теперь, чем когда-либо, о своих обязанностях по отношению к Святому престолу, то уверенность в этом основывается на более широком вопросе: будет ли Франция в состоянии исполнить эти обязанности?

Императрица гордо подняла голову и бросила молниеносный взгляд на графа.

– В состоянии ли Франция защитить Рим? – спросила она с удивлением и неудовольствием.

Риверо, выдержав взгляд императрицы, слегка поклонился.

– Мне известно могущество Франции, – сказал он. – Могущество это громадно, но дело в том, употребят ли его в надлежащее время и в надлежащем направлении или без толку расчуют на ложном пути и ради ложной цели.

Государыня потупила глаза.

– Вы строгий критик, граф, – сказала она через несколько минут глухим голосом, в котором угадывался оттенок огорчения.

– Было бы недостойно вашего величества и меня, – отвечал Риверо, – если бы я стал отвечать на ваш вопрос общими фразами; во всяком случае, моя критика, которую вам угодно называть строгой, конечно, менее строга, чем та, которую с неумолимой логикой и последовательностью проводит история.

Глаза императрицы медленно поднялись и на минуту остановились, как бы в изумлении, на спокойном, благородном лице человека, который говорил ей в лицо правду, к коей так мало приучила ее окружающая среда.

– Вы правы, граф! – заявила она решительно. – Мы говорим о серьезном деле, и было бы безрассудно умалчивать или скрывать мысли. Итак, вы полагаете, что могут наступить обстоятельства, которые воспрепятствуют Франции употребить свое могущество на защиту церкви и Святого престола?

– Как ни велико могущество Франции, – отвечал граф, – но ввиду нынешних сплотившихся держав, ввиду великих и могучих движений народа, оно тогда только может вести к успеху, если не раздробится, не станет стремиться к невозможному. Достаточно небольшой части этого могущества для защиты Рима, когда знаешь, что эта часть есть только символ, за которым стоит вся Франция. Всякое великое и опасное предприятие, задуманное Францией в ином направлении, умалит значение этого символа; всякое такое предприятие послужит сигналом к революции, то есть к отчаянному нападению Итальянского королевства на Рим.

Императрица слушала с напряженным вниманием.

¹³ В битве при Сольферино 24 июня 1859 г. объединенные французские и сардинские войска разгромили австрийскую армию.

– Мексиканская экспедиция, – продолжал граф спокойно, – помешала Франции сказать свое веское слово в германскую войну; война с Германией воспрепятствует защитить Рим.

– Поэтому, – сказала Евгения с живостью, – вы разделяете мнение, что мы не должны теперь вмешиваться в дела Германии?

– Не только теперь, но и никогда, – отвечал граф убедительным и твердым тоном, устремляя свой ясный взгляд на взволнованное лицо императрицы, которая смотрела на него с удивлением.

– Я надеялся, – продолжал граф, – что в минувшем году Австрия выйдет победительницей и разрушит новую Италию; что во главе Германии окажется католическая, преданная церкви держава, которая, в союзе с Францией, восстановит клонящееся к упадку владычество права и религии. Надежды эти не исполнились: Австрия разбита и даже отказалась от своего прошлого... она не поднимется больше, и Германия на веки принадлежит Пруссии!

Губы монархини шевелились, глаза искрились; казалось, она хотела заговорить, но удержалась и пытливо посмотрела из-под опущенных ресниц на графа, ожидая продолжения его речи.

– Дело Германии закончено, – говорил далее Риверо, – но может еще послужить на пользу церкви: Пруссии не нужна Италия, а последняя, при настоящей своей форме, ничего не может сделать одна, если против нее выступит Франция сосредоточенными силами и обеспечит свободу и независимость папского престола.

– Вы, – сказала императрица, не поднимая глаз, – разделяете преобладающее у нас мнение, будто для Франции лучше всего хранить твердый и долгий мир с Пруссией?

– Борьба Франции с Германией, – сказал граф весомо, – положит конец безопасности и независимости папского престола и, следовательно, будет в высшей степени опасна для единства церкви.

– Вы будете довольны, – отвечала Евгения, в голосе которой слышалось обманутое ожидание – мне кажется, в настоящую минуту положено основание такому миру. Однако, – прибавила она, перебирая батистовый платок, – я не вполне убеждена в его прочности.

Лицо графа оживилось от сильного внутреннего волнения; его глаза пытливо и проницательно посмотрели на императрицу.

– Разве нужно особое основание для мира, которому ничто не угрожает и который легко можно сохранить, поскольку никто не нарушит его? – спросил он. – Германия не заинтересована в том, чтобы преступать его.

Императрица широко открыла глаза и бросила гневный взгляд. Гордо подняв голову, она сказала со свойственной ее характеру живостью:

– Вы полагаете, граф, что Франция может и должна спокойно смотреть на сосредоточение всех германских сил в руке Пруссии, этой державы, которая уже простирает свой меч через Рейн к самому сердцу Франции? Вы не можете предполагать, чтобы Франция, наследие побед Наполеона, безмолвно и покорно терпела низвержение сложившегося устройства Европы и восстановление Немецкой империи, предпринятое протестантской державой. Конечно, нам не следовало допускать того, что совершилось; но факты уже имеют место быть, и мы должны собрать все свои силы, чтобы одним ударом разрушить результат минувшего года, а не довольствоваться нищенским вознаграждением!

Граф слушал с возраставшим вниманием, его глаза пристально и проницательно смотрели на императрицу. Ему, казалось, хочется возразить ей.

Но лицо его мгновенно приняло свое обычное спокойное выражение, и он спросил с легкой улыбкой:

– Какого вознаграждения могла бы требовать Франция и какое вознаграждение дала бы Германия?

– В Германии, – сказала императрица с презрительной улыбкой, – почтут за счастье купить прочный мир с Францией, окончательное признание сделанных в прошедшем году завоеваний, за скудное вознаграждение в виде жалкого Люксембурга!

– Люксембурга! – вскричал Риверо, вскочив и с удивлением смотря на императрицу, – Люксембурга? Неужели об этом помышляют всерьез?

– Граф, – сказала Евгения, в лице которой выразилось опасение. – В своем увлечении я сказала то, о чем не следовало бы говорить... Прошу вас не придавать никакого значения моим словам.

Граф на минуту потупил глаза.

– Ваше величество, – сказал он наконец, – милостиво обмолвились, что ваши высокие родственники приписывают мне много хороших качеств. Не забыли ли они одного, которым я горжусь, а именно скромности?

Императрица пытливо посмотрела на него.

– Из слов вашего величества, – продолжал граф, – я осмеливаюсь заключить, что вы недовольны переговорами об уступке Люксембурга, поэтому я употреблю все силы поддержать желание вашего величества. Быть может, вам уже сообщили, что я имею некоторые сведения о политических каналах и потому обладаю некоторым влиянием; следовательно, все дело в том, угодно ли вашему величеству одарить меня своим доверием.

– Если вы желаете прочного мира Франции с Пруссией, – отвечала монархиня нерешительно, – то почему вам интересно помешать люксембургским переговорам, тогда как уступка этой области должна служить условием и основанием упомянутого мира?

Риверо твердо и спокойно встретил пронизательный взгляд императрицы и отвечал решительно:

– Не могу скрыть от вашего величества, что в этом вопросе заключается война!

– Война? – вскричала императрица. – Люксембург принадлежит Голландии, и если голландский король уступит его Франции, то разве Пруссия отважится вмешаться в этот совершившийся факт?

– О, – отвечал граф, – это верный путь к войне. Быть может, было бы лучше приобрести Люксембург посредством переговоров с Пруссией, которая никогда не примет свершившегося факта, задуманного и исполненного без ее ведома в таком деле, в котором считает себя представительницей интересов Германии!

Императрица молчала. В ее глазах светилась радость.

– Если начнется война, – сказал граф спокойно, – Франция будет разбита, Италия займет Рим.

– Вы полагаете, что Франция будет побеждена? – спросила Евгения.

– Французская армия не готова, – отвечал граф. – План маршала Пиля едва начал приводиться в исполнение, а в этом вопросе вся Германия пойдет за Пруссией. – Я убежден, понимай император, что люксембургский вопрос поведет к войне, то не поднимал бы его, не решался бы на опасную игру с целью прижать Пруссию к стенке своим *fait accompli*¹⁴.

Императрица поникла головой и погрузилась в размышление.

– Вы правы, – сказала она наконец, – в настоящую минуту нельзя начинать войны, следовательно, нужно устранить этот люксембургский вопрос. Но как это сделать?

– Опасность заключается в секретности переговоров, – отвечал Риверо. – Выступив со свершившимся фактом и встретив противодействия Пруссии, Франция неизбежно должна будет отстаивать свою честь, и война станет неизбежной. Можно устранить опасность, дав Пруссии случай высказать свое мнение, пока еще Франция может с честью отказаться от переговоров.

¹⁴ Свершившимся фактом (*фр.*).

– Но как это сделать? – спросила Евгения.

– Устроить так, чтобы в Берлине как можно скорее узнали о переговорах. Повторяю еще раз, что, по моему твердому убеждению, Наполеон не должен заходить слишком далеко, встретив решительное сопротивление Пруссии.

– Но такое сообщение о деле, которое составляет французскую государственную тайну, – промолвила императрица нерешительно, – не может исходить отсюда.

– Ваше величество может не беспокоиться, – отвечал Риверо с едва заметной усмешкой. – Скромность французского кабинета не подвергнется никакому нареканию. – Итак, вы разделяете мое мнение, что люксембургские переговоры опасны и что, в интересах самой Франции, нужно прекратить их и не доводить дела до крайности?

Императрица с минуту посмотрела пристально на графа, который ожидал ее ответа.

– Мне кажется, – сказала она наконец, – что я не могу не согласиться с вами.

– Этого довольно, – отвечал граф. – Действовать предоставьте мне.

– Что же вы предпримете? – осведомилась Евгения с некоторым испугом и опасением.

– Государыня, – сказал граф с поклоном, – солнце ниспосылает свет и теплоту и будит дремлющий зародыш в земле, но не спрашивает, как он образует в таинственной работе ствол, листья и цветы.

Императрица кивнула головой, обворожительно улыбнувшись. Потом встала.

– Дерево, вырастающее из ваших сердца и головы, граф, – сказала она, – может принести только добрые плоды священному для нас обоим делу. Я очень рада познакомиться с вами и надеюсь продолжать знакомство. Мне всегда будет приятно видеть вас у себя в мои понеделники, но если появится надобность сообщить мне что-нибудь в другой день, то я с удовольствием приму вас – ведь мы союзники.

И государыня протянула ему руку.

Граф наклонился и почтительно припал к ней.

– Ваше величество всегда увидит меня, когда нужно будет сообщить хорошую новость или предотвратить зло.

Риверо быстро и уверенно подошел к двери, поклонился еще раз и вышел из салона.

– Замечательный и необыкновенный человек, – проговорила императрица, задумчиво смотря ему вслед. – Аббат Бонапарте прав, этот граф твердый и гибкий, как толедский клинок. Но сохранить вечный мир с Германией, которая хочет вытеснить и унижить нас? Нет! – воскликнула она громко, притопнув по мягкому ковру. – Нет, в этом ему меня не убедить! Но, как бы то ни было, надо устранить люксембургский вопрос. Я не хочу, чтобы он увенчался успехом и мы удовольствовались этим скудным вознаграждением, не хочу также и того, чтобы он привел к войне, ибо граф может оказаться прав, а если мы будем побеждены, – прошептала Евгений, в задумчивости опустив голову, – тогда настанет конец...

И несколько минут она стояла неподвижно.

Потом позвонила.

– Герцога Таше де ла Пажери! – последовало ее распоряжение вошедшему камердинеру.

Глава четвертая

Граф Риверо спустился по большой лестнице и вышел из обтянутого белой и синей материей с золочеными копиями подъезда. По знаку стоявшего там императорского лакея подъехал экипаж графа, простое купе, запряженное двумя безукоризненными лошадьми; лакей в темно-синей ливрее с тонкими золотыми шнурами открыл дверцу и накинул на плечи своего господина плащ, лежавший в экипаже.

– К маркизе Палланцони! – крикнул граф, садясь, и карета быстро покатила: оставила двор Тюильри, проехала по улице Риволи, площади Согласия, улице Руаяль, повернула у бульвара Мадлен налево, к церкви Святого Августина, и достигла большой площади, которая находится у этой новой и красивой церкви, в начале бульвара Мальзерб.

Здесь карета остановилась у большого красивого дома; граф вышел из экипажа и легкими шагами поднялся по широкой лестнице, устланной ковром.

У высокой стеклянной двери первого этажа он позвонил, и ему открыли почти сразу.

– Маркиза у себя? – спросил граф лакея в светло-синей с серебром ливрее.

– Маркиза в своем будуаре, – отвечал тот. – Она никого не велела принимать, но графа, конечно, примет. Я доложу о вас камеристке.

И с той почтительной услужливостью, какую оказывает друзьям и близким дома прислуга, тонко понимающая отношения своих господ, лакей открыл дверь, и граф вошел в богатый, но просто и с большим вкусом убранный салон, наполненный благоуханьем множества цветов, которыми были украшены две большие жардиньерки, стоявшие у окон.

Риверо медленно ходил по этому салону, уткнув в пол задумчивый взгляд.

– Императрица помышляет о мщении, – говорил он сам себе, – хочет уничтожить возникающую Германию... Думает принести тем пользу церкви. Ошибается... надобно разрушить ее замыслы! В настоящее время она должна помочь мне устранить люксембургский вопрос, но за ней следует наблюдать – она станет поддерживать в императоре мысли о решительной войне с Германией, а влияние ее велико.

Послышался шум отодвигающейся двери, красивая белая ручка приподняла портьеру, и женский голос произнес:

– Войдите граф.

Риверо быстро перешел салон, отдернул портьеру и вошел в будуар с одним окном из цельного зеркального стекла. Стены были обиты серыми шелковыми обоями; цветы, статуэтки, книги и альбомы до того наполняли комнату, что лишь у камина оставалось свободное место для шезлонга и двух кресел.

Дама, пригласившая графа в этот укромный уголок, опять улеглась на шезлонг. Ее черные волосы, заплетенные простыми косами, лежали над прекрасным бледным лбом; греческое лицо с темными глубокими глазами отличалось прозрачной бледностью, которая, не будучи следствием болезненности, указывает на преобладание духа над плотью. Полулежа на шезлонге, она опиралась ногами, обутыми в белые шелковые туфли с меховой опушкой, на небольшую скамеечку, придвинутую к позолоченной решетке камина. На даме был широкий утренний наряд из серебристо-серой шелковой ткани, и во всей ее фигуре замечался некоторый беспорядок, служивший доказательством того, что она еще не принималась за великое и важное занятие туалетом. Но в упомянутом беспорядке не было, однако, никакой небрежности, все дышало совершеннейшим изяществом знатной особы.

Граф быстро подошел к шезлонгу и сел в стоявшее рядом кресло.

Дама протянула ему руку; граф взял ее и, как бы подчиняясь очарованию, которое разливалась обладательница руки, поднес к губам. В его глазах блеснул луч торжества.

– Примите от меня поздравление, – сказал Риверо холодным тоном, который контрастировал со смыслом его слов. – Вы с каждым днем становитесь прекраснее и изящнее.

Полугордая-полуироническая улыбка играла на губах дамы, когда с них слетел ответ:

– Я должна стремиться к тому, чтобы быть настолько изящнее и прекраснее, насколько выше стоит маркиза Палланцони над Антонией Бальцер. Кстати, граф, нет ли у вас известий о моем достойном супруге, маркизе Палланцони?

И, засмеявшись, она откинулась красивой головкой на спинку шезлонга.

– Он спокойно живет под надзором старого слуги в небольшом домике около Флоренции, который я устроил для него, и проводит остаток своей жизни в раскаянии о бедности, на которую сам себя обрек и из которой я его вызволил. – Однако, – посерьезнев, продолжал Риверо, – остерегайтесь говорить о нем таким тоном с кем-либо другим, кроме меня: хотя человек, давший вам свое имя, пал низко, но имя его принадлежит к числу самых древних и самых благородных, и никакой новый позор не должен запятнать его, по крайней мере перед светом!

Лицо маркизы вспыхнуло, ядовитый взгляд блеснул из-под ресниц, губы гордо раскрылись, но маркиза не произнесла ни слова, глаза опустились как бы для того, чтобы скрыть выражение их от пристального взора графа; черты мгновенно приняли опять свое равнодушное, приветливое обличье.

– Знаете ли, граф, – сказала женщина, – я начинаю скучать. Теперь я изучила Париж с его пестрыми, меняющимися картинами, которые, однако, остаются, по сути, вечно однообразными; я нахожу отвратительными и скучными этих молодых людей с их притворной пресыщенностью, и, – прибавила она с легким вздохом и острым, испытующим взглядом, – настоящее общество закрыто для меня, несмотря на громкое имя, которое... вы дали мне.

– В этом отношении надобно иметь терпение, – отвечал граф, – находясь в вашем положении, нельзя спешить со вступлением в общество. Впрочем, будьте покойны, – продолжал он, – оказывая важную и полезную услугу, вы попадете в высший свет, немедленно и постепенно поднимаясь, но разом. Как только я сочту это необходимым, – прибавил Риверо тоном ледяной твердости.

Опять глаза маркизы вспыхнули гневом, и снова скрыла она это выражение под опущенными веками.

– Важную и полезную услугу? – переспросила она спокойным голосом. – И верно, вы говорили, что мои услуги будут нужны в важных делах и что, служа святому делу, я смогу искупить свои прежние заблуждения. Но до сих пор я ничего не сделала, чего не могла бы сделать всякая настоящая маркиза.

При этих словах ее лицо исказила тень презрения.

– Настала минута, когда вы можете начать свою деятельность, – объявил граф. – Вам предстоит оказать услугу, которая, при искусном исполнении, может повлиять на судьбу Европы!

Маркиза вскочила; глаза ее засверкали.

– Говорите, граф! – вскричала она. – Говорите, я вся превратилась во внимание.

Граф несколько секунд спокойно смотрел на ее взволнованное лицо.

– Чтобы хорошо исполнить поручаемое вам дело, вы должны в деталях знать, в чем оно заключается и какой требуется результат. Еще раз напомним вам о том, что первое условие всякой требуемой от вас услуги заключается в безусловном молчании; малейшее нарушение этого условия влечет за собой жестокую кару.

Яркий румянец выступил на ее лице, глаза метали молнии, но маркиза мгновенно овладела собой и спокойным голосом спросила:

– Имеете основание не доверять мне?

– Нет, – отвечал Риверо, – но дело, которое поручается вам, не мое; поэтому необходимо припомнить условия заключенного между нами договора.

– Они глубоко врезались в мою память, – сказала Палланцони.

– Слушайте же! – начал граф, наклонившись и говоря вполголоса.

– Не запереться ли нам? – спросила она, указывая на отворенную дверь в салон и готовясь встать.

Граф удержал ее, легко коснувшись руки.

– Оставьте, – сказал он, – говоря о тайных делах, я предпочитаю отворенные двери: за ними никто не подслушивает. Так вот: ведутся переговоры между императором Наполеоном и голландским королем об уступке Люксембурга Франции.

Маркиза подперла головку рукой и не сводила глаз с губ собеседника.

– Эти переговоры не должны иметь никакого успеха, – продолжал граф. – Берлинский кабинет ничего не знает о них, надобно как можно скорее уведомить его, и притом так, чтобы не возбудить подозрения, что извещение послано отсюда.

– Но как я могу? – удивленно вскинулась маркиза.

– Кажется, – продолжал граф, – ни здесь, ни в Голландии не предполагают, что эти переговоры могут привести к серьезным неудовольствиям и войне, которая способна охватить всю Европу. Если бы голландский король узнал о последствиях этих тайных переговоров, он бросил бы их, потому что не любит войны и особенно боится вражды с Пруссией, которая поставит его владения между двух огней.

– Но я все еще не понимаю, как я...

– Я нахожу, – продолжал граф с легкой усмешкой, – что ваш экипаж не соответствует роскошной обстановке дома – ваши лошади не достаточно хороши, и масть их мне не нравится.

Она посмотрела на Риверо с немым удивлением и покачала головой.

– У вас должны быть самые лучшие лошади в Париже, – проговорил граф спокойно. – Правда, это нелегко, потому что лучшая упряжка, какую только я знаю и какая годилась бы вам, принадлежит мадам Мюзар. Но эта дама уже обещала продать этих лошадей императорскому шталмейстеру.

Глаза маркизы загорелись, тонкая улыбка заиграла на ее губах; она с напряженным вниманием смотрела на графа.

– Приобрести этих лошадей возможно единственным способом: нанести визит мадам Мюзар. «*Paris vaut bien une messe*»¹⁵, – сказал Генрих Четвертый. И результат визита будет тем вернее, что вы, может быть, окажете услугу мадам Мюзар. Она интересуется Голландией и, вероятно, будет благодарна, если ей помогут предотвратить грозящую этой стране опасность.

Маркиза вскочила.

– Довольно, граф! – воскликнула она. – Я все поняла, вы можете положиться на меня. Я докажу вам, что способна быть вашим орудием. Я заслужу шпоры!

– Не забудьте, – сказал граф, – надобно действовать немедленно, чтобы предотвратить несчастье. Через три дня необходимо знать, достигнута ли цель – иначе придется избрать другой путь.

– Цель будет достигнута, – отвечала маркиза, – через час, окончив мой туалет, я примусь за дело.

Граф встал.

– А лошади дорого стоят? – спросила женщина с едва заметной улыбкой.

Граф вынул из кармана портфель, достал оттуда чек, подошел к маленькому, прелестному письменному столу и заполнил пробел в чеке.

– Вот чек моему банкиру на пятьдесят тысяч франков, – надеюсь, этого довольно, – во всяком случае, заплатите, сколько потребуют.

¹⁵ Париж стоит мессы (фр.).

Не глянув на чек, маркиза положила его в красную раковину у подножия античной бронзовой статуэтки, стоявшей на каминной полке.

– Теперь, граф, – сказала женщина с улыбкой, – позвольте мне заняться своим туалетом. Я не прогоняю вас, – прибавила она с особенным взглядом.

Граф взял свою шляпу.

– Я увещевал вас быть скромной, – сказал он, – и не должен позволять нескромности себе.

Риверо с легким поклоном направился к двери и, миновав салон, вышел из жилища маркизы.

– Он ледяной, – сказала та со вздохом, позвонив в колокольчик. – И власть его железная. Однако он ведет меня туда, куда я давно стремлюсь и, быть может... – Затем она повернулась к вошедшей горничной. – Я уезжаю: одень меня; через час подать карету!

Граф сошел с лестницы.

– Итак, фитиль, от которого зависит пожар всей Европы, находится в руках двух женщин! – сказал он тихо. – И важные, серьезные господа дипломаты, встретив сегодня вечером в Булонском лесу этих дам, разряженных в бархат, кружева и перья, никак не заподозрят, что в это время судьба мира находится в их прелестных ручках. Какими странными путями идет живая история, которая впоследствии так торжественно является потомству в монументальных изваяниях!

– В нунциатуру! – велел он своему слуге и сел в карету, которая поехала быстрой рысью.

Через час экипаж маркизы Палланцони остановился у великолепного отеля мадам Мюзар близ Елисейских Полей. Все дышало в этом доме совершенной изысканностью самого высшего света. Несметное богатство, приносимое госпоже Мюзар источниками нефти, открытыми в ее наследственном американском имении, являлось здесь не в тяжелом блеске, но в той простоте, которая встречается только там, где действительно громадные средства соединяются с действительно изящным вкусом.

Правда, на лице напудренных лакеев в темной ливрее с серебристо-серыми шнурками и в белоснежных чулках выразилось некоторое удивление, когда слуга маркизы подал ее карточку и спросил, угодно ли мадам Мюзар принять его госпожу, однако карточку передали молча и быстро камердинеру, который в безупречной черной одежде сидел в передней.

Мадам Мюзар с удивлением взглянула на карточку, которую камердинер подал ей на золотой тарелке с удивительной резьбой по краям.

– Маркиза Палланцони, – сказала она, – я слышала это имя... Красивая итальянка, живущая здесь с некоторого времени... настоящая великосветская дама, как мне говорили. Но чего нужно ей от меня? Во всяком случае, выслушаем! Мне очень приятно принять маркизу, – сообщила госпожа камердинеру, который почтительно стоял у дверей. – Сойдите сами и проводите маркизу сюда.

Камердинер ушел.

Мадам Мюзар была высокая стройная женщина лет двадцати шести – двадцати восьми с тонкими и умными, несколько резкими чертами, с темными волосами и такими же бровями, изгибавшимися над чрезвычайно проницательными и умными глазами. По выражению последних, она казалась старше, а по улыбке свежих губ – моложе своих лет. На ней был простой утренний наряд из тяжелой шелковой материи темного цвета; брошь из одного рубина необыкновенной величины застегивала обшитый дорогим кружевом ворот.

Во всей ее фигуре не было ни малейшего следа той утрированной роскоши, которую замечали в то время у большинства дам, принадлежащих к большому свету, а также к полусвету; небольшой салон, в котором она сидела, был меблирован с благородной простотой.

Дверь отворилась.

– Маркиза Палланцони! – доложил камердинер, и в салон вошла, шумя платьем, Антония Бальцер в богатом наряде для прогулок. Над широкими складками темно-синего платья спускалась бархатная мантилья с собольей опушкой; из-под шляпки одного с платьем цвета, украшенной великолепным белым пером, смотрело тонкое и нежное лицо, раздумывавшееся на воздухе и сиявшее чудной красотой и свежестью.

Мадам Мюзар встретила свою гостью почти у самых дверей и быстрым, пронизательным взглядом окинула молодую, прелестную фигуру.

– Я в восхищении, маркиза, от вашего визита, – сказала она со спокойною вежливостью, – и сочту за счастье услужить вам, в чем могу.

Она подвела Антонию к окруженной цветами небольшой софе около окна и села напротив на низеньком стуле, почтительно ожидая, чтобы гостья объяснила причину своего визита.

– Прежде всего позвольте мне, – начала маркиза дышащим искренностью, звонким голосом, – выразить свое удивление вашим домом, вернее, той его частью, которую я видела. О нем так много говорят в Париже, что я с нетерпением ехала сюда, но действительность превзошла мои ожидания. Во всем парижском блеске, – прибавила она с наивной улыбкой, которая так ей шла, – очень трудно встретить настоящую изящную простоту в меблировке дома. Я наблюдала ее только в некоторых старинных домах Сен-Жерменского предместья. И у вас.

Госпожа Мюзар слегка поклонилась; улыбка, показавшаяся на ее губах, ясно говорила, что сердце ее не осталось бесчувственным к столь наивно высказанному комплименту, однако взгляд ее как бы говорил: «Не думаю, что вы приехали ко мне для того только, чтобы сказать это».

Антония с притворным смущением опустила глаза перед этим ясным и пронизательным взглядом. Она переплела в мольбе пальцы в светло-серых перчатках из шведской кожи и, бросив на мадам Мюзар умоляющий взгляд, сказала:

– Я так же обставляю свой дом, хотя только на время всемирной выставки. Мой муж, – тут из ее груди вырвался вздох, – постоянно болен и не может совершать далеких путешествий, однако уступил моему пламенному желанию видеть Париж и чудесную выставку и позволил пробыть мне здесь некоторое время. У меня еще нет многого, особенно не могу достать себе приличный экипаж, – промолвила она нерешительно. – И я осмелилась обратиться к вам – у вас чудесные лошади...

Лицо мадам Мюзар приняло холодное выражение.

– Мне рассказывали, – продолжала маркиза, – что у вас совершеннейшие, прекраснейшие лошади во всем Париже... Я надеялась, что вы уступите мне этих лошадей – пару вороных каретных – и исполните мою просьбу...

Гордая улыбка заиграла на губах мадам Мюзар.

– Я не торгую лошадьми, маркиза, – холодно отрезала она, – вообще, я никогда не продаю лошадей, на которых сама езжу, а тем менее эту пару, от которой не отказался бы даже император. Я купила этих лошадей, потому что хотела иметь самую лучшую упряжку в Париже. Очень жаль, что я не могу исполнить вашего желания, ведь мне было бы так приятно быть вам полезной.

Маркиза опустила глаза с выражением обманутой надежды и смущения.

– Я, признаюсь, знала очень хорошо, что вы не торгуете лошадьми, – сказала Антония, – однако надеялась, что вы, быть может, сделаете одолжение иностранке.

Мадам Мюзар покачала головой, слегка пожав плечами.

– И притом, – продолжала гостья, – я подумала, что предстоящая война, которая, быть может, разрушит все эти блестящие надежды на праздник всемирной выставки, побудит вас уступить мне своих прекрасных лошадей, которых в случае войны я взяла бы с собою в Италию.

Хозяйка дома с изумлением уставилась на нее.

– Вы говорите о войне, – сказала она. – Не понимаю, о какой – кажется, во всем мире царствует глубокое спокойствие.

– Да, так кажется, – отвечала маркиза, с поразительной естественностью принимая самый простодушный вид. – На самом деле, конечно, Франция не будет непосредственно замешана, но честь обяжет императора защитить Голландию...

Госпожа Мюзар вся превратилась во внимание. Ее пронизательный взгляд пожирал улыбающееся лицо болтавшей с нею дамы.

– Защитить Голландию? – спросила она. – От кого? Кто угрожает Голландии?

– О боже мой! – воскликнула Антония, ломая руки. – Когда в Берлине узнают о происходящем, то, без сомнения, примут надлежащие меры, и бедная Голландия...

– Но, ради бога, в чем же дело? – вскричала мадам Мюзар нетерпеливо. – Вы почти пугаете меня, маркиза, своими домыслами о войне! – продолжала она с улыбкой, мгновенно овладев собой.

– Домыслами? – переспросила гостья, притворяясь оскорбленной сомнением в ее знании политических дел. – Это не домыслы. Разве вам не известно, что голландский король хочет продать императору герцогство, небольшое герцогство с важной крепостью... – Антония сделала вид, будто старается припомнить название. – Там еще есть большой дворец с прекрасными садами, в котором жила Мария Медичи. Люксембург... да, Люксембург! И если Бисмарк узнает об этом тайном торге, – а он уже кое-что слышал о нем, – то война неизбежна.

– Правду сказать, вы удивляете меня, маркиза, – проговорила мадам Мюзар, с глубоким вздохом и мрачным взглядом, – удивляете меня своим знанием политических дел, от которых я так далека!

– Прошу извинить меня, – сказала маркиза, готовясь встать. – Я задержала вас, и раз вы не желаете уступить лошадей...

– О, пожалуйста, маркиза, – отвечала мадам Мюзар, останавливая Антонию жестом. – Мне доставляет редкое удовольствие беседовать с вами. И, действительно, – продолжала она задумчиво, – эта опасность войны, если таковая существует...

– Если существует? – вскричала маркиза с живостью. – Она явится, как только в Берлине проведдают об этом люксембургском деле. Правда, нельзя запретить императору купить герцогство, но можно запретить голландскому королю продать его: нападут на Голландию, и император будет принужден защитить бедного короля, если только...

– Если только? – повторила мадам Мюзар, едва переводя дыхание.

– Если только, – продолжила маркиза с улыбкой, – император силой не возьмет Люксембург, а Пруссия – Голландию. – Антония пожала плечами. – И тогда число бедных королей, без трона и владений, вырастет на еще одного. Однако мы очень смешны: две женщины толкуют о политике.

Мадам Мюзар задумчиво потупила взор.

– Все это мало интересует меня, – сказала она наконец. – Но у меня есть друзья в Голландии. Только я никак не могу понять, откуда вы, маркиза, получили столь точные сведения?

– О, – отвечала та, – об этом упоминал один из моих друзей – человек, близкий к Тюильри. Но, – прервала она свою речь, – я, быть может, была неосторожна – он говорил мне, что еще никто не знает об этом.

– Я воплощенное молчание, маркиза, – с живостью заверила ее мадам Мюзар, комкая в руках кружевной платок. – Все это мало интересует меня, но если случится война, это ведь такой ужас! А ваш друг... – прибавила она нерешительно, – не знает ли способа предупредить войну?

– Ах! – воскликнула маркиза. – Разве вы не знаете мужчин? Он не боится войны, напротив, желает ее. Впрочем, по его словам, какое нам дело, что Пруссия овладеет Голландией, лишь бы нам достался Люксембург. Виноват будет король: сообщив вовремя в Берлин о своих

переговорах, он, быть может, избежал бы неприятностей, но теперь дипломатическое соглашение невозможно. Однако я не смею дольше отнимать у вас время, – прибавила Антония, снова делая вид, что хочет уйти.

– Маркиза, – сказала мадам Мюзар, взглянув на свою гостью, – я не исполнила вашего желания. Быть может, я дурно поступила, не выказав большего расположения к совершенно чужой здесь даме Вы знаете... – продолжала она, протягивая маркизе руку, на которую та удивленно и нерешительно опустила свои тонкие пальцы, – вы знаете, что есть симпатии, которым нельзя не покориться. Позвольте же сказать, что в течение нашего минутного разговора я прониклась такой симпатией к вам.

Антония с невинной улыбкой взирала на нее, но в ее взгляде можно было прочесть, что для нее не новость – возбуждать к себе симпатию.

– И в доказательство внушаемого вами чувства, – продолжала мадам Мюзар, – позвольте мне отойти от своего правила и уступить вам лошадей, чтобы такая прекрасная и умная дама имела достойный ее экипаж.

В глазах маркизы загорелась детская радость.

– В самом деле? – вскричала она со смехом. – Вы не шутите?

И в свою очередь схватила руку мадам Мюзар и от всего сердца пожала ее.

– Лошади принадлежат вам, – сказала хозяйка дома, – но с одним условием...

Маркиза любезно кивнула головой.

– Чтобы мы, – продолжала мадам Мюзар, – виделись теперь не в последний раз, чтобы вы позволили мне посетить вас и возбудить в вашем сердце то же чувство, какое я питаю к вам.

– Я всегда рада буду видеть вас у себя, – отвечала гостья несколько сдержанно.

Госпожа Мюзар как будто не заметила этого горделивого тона и сказала с лучезарной улыбкой:

– Таким образом я выиграю больше, чем потеряю на своих лошадях.

– Однако, – сказала маркиза, вставая, – остается решить еще один вопрос – о цене...

– Наша дружба началась слишком недавно, – прервала ее мадам Мюзар, – чтобы я могла предложить вам эту упряжку в доказательство моей симпатии. Кажется, я уплатила по десяти тысячи франков за лошадь – мой управляющий выпишет счет и я буду иметь честь представить его вам.

– Итак, дело решено, – сказала Антония с веселой улыбкой. – О, как я рада, что у меня наконец есть приличный экипаж!

И с детской радостью захлопала в ладоши.

– Я не смела предложить вам своих лошадей, – сказала хозяйка, – но вы не можете отказаться принять от меня небольшой подарок на память о нашем первом знакомстве.

– Царица цветов – царице красоты! – заявила она, сорвав едва распустившуюся розу и протянув ее гостье.

– Прелестно! – вскричала маркиза, понюхав розу и приколов ее себе на грудь. – Мне совестно, – сказала она, – что не успела я высказать просьбу, а вы уже исполнили ее. До свиданья! До свиданья!

Антония снова пожала руку госпоже Мюзар и направилась к двери.

Мадам Мюзар проводила ее до порога и простилась с самой любезной улыбкой.

Камердинер довел маркизу до кареты.

– В Булонский лес! – объявила она лакею, и карета помчалась.

– Кажется, я преуспела, – сказала себе Антония, откидываясь на мягкие подушки. – По десять тысяч франков за лошадь, остается еще тридцать тысяч. Недурное дельце! Во всяком случае, не помешает немного своих денег про запас!

После отъезда маркизы госпожа Мюзар постояла в задумчивости в своем салоне. Улыбка исчезла с ее лица, она прошла несколько раз по комнате, часто останавливаясь.

– Само небо послало мне эту наивную, щебечущую маркизу! – воскликнула мадам. – Какое счастье, что я вовремя узнала об угрожающей опасности! Но вовремя ли? – прибавила она, помрачнев взором.

Быстро подошла она к письменному столу, села и стремительным почерком исписала большой лист почтовой бумаги, изредка останавливаясь и обдумывая. Потом положила письмо в двойной конверт, запечатала маленькой печатью, вынутой из секретного ящика своего бюро, и начертала адрес: *г-ну Мансфельдту, в Гааге*.

Потом позвонила.

Вошел камердинер.

– Поезжайте в Гаагу с первым поездом.

– Слушаю.

– Это письмо отдайте лично в руки.

Камердинер молча взял письмо, поклонился и вышел из салона.

– Дай бог, чтобы не было поздно! – прошептала мадам Мюзар и направилась в гардеробную, чтобы переменить туалет для прогулки в Булонском лесу.

Глава пятая

Утром 27 марта граф Бисмарк сидел у письменного стола в своем рабочем кабинете. Пред ним лежала пачка депеш, которые он отчасти пробежал глазами и откладывал, отчасти прочитывал внимательно, устремляя по временам задумчивый взгляд в пространство.

– Всемирная выставка... уверения в дружеском расположении императора и его правительства... громкие слова о положении дел на востоке, косвенное предостережение против России, – проговорил он недовольным тоном, бросая на стол прочитанную им бумагу. – Вот все, что мы получаем из Парижа! Грустно в самом деле, – продолжал он со вздохом, – что нельзя везде слышать собственными ушами и видеть собственными глазами! Я твердо убежден, что в Париже найдутся иные, более серьезные, сведения – что-то там происходит. В минувшем году Наполеон не достиг всего, к чему стремился до того, как произошла неожиданная катастрофа. Он плохо перетасовал колоду!

Граф улыбнулся.

– Он, конечно, не забыл этого – не такой это человек, чтобы счесть игру проигранной. У него на уме есть что-то, дабы поправить понесенный моральный урон и восстановить, хотя бы наружно, свое величие. А Мутье... говорят, его потому назначили министром, что он хорошо знает восточные дела. Пустяки – важного на Востоке ничего нет... Показывают России красивый мираж, только и всего – такую же игру вел Наполеон I против Александра I. Там затевается кое-что другое, – промолвил граф, подумав. – Это сближение, уверение в дружбе, начертание союза – все это имеет свою цель, которая обнаружится в один прекрасный день, сразу и неожиданно... Следовало бы узнать все это там и уведомить меня. Правда, – прибавил он, пожимая плечами, – если глаза постоянно устремлены сюда...

Бисмарк распрямил спину и глубоко вздохнул, закрыв глаза.

– О, как трудно сохранить мужество и непоколебимость при достижении предстоящей великой цели, которая, развиваясь пред моими внутренними очами, постепенно принимает более ясные линии, более явные очертания, но которой я не смею обозначить вслух и должен хранить в сердце, если только желаю достигнуть ее! Они праздновали победу, – продолжал он, – а между тем делали все, чтобы преградить к ней путь. И едва одержана победа, как они уже снова начинают ставить в парламенте одну препону за другой: забаллотировывают устройство верхней палаты северогерманского союза, трехлетнюю военную службу, конституцию. Этот прежний *circulus vitiosus*¹⁶ бесплодной и тягостной борьбы партий снова начинает соединять печальный конец с грустным началом.

Граф на минуту поник головой. Глубокая грусть отразилась на его лице.

– Однако, – заговорил он, глядя перед собой гордым и смелым взглядом, – я буду малодушен и неблагодарен к Провидению, если уступлю теперь, когда уже прошел большую часть пути. Германия не достигла бы настоящего положения, если бы Богу не были угодны мои труды. Итак, с Богом, вперед! И пусть даже иная рука закончит начатое мной дело и поставит прекрасную, благородную Германию, вооруженную прусским мечом, во главе европейских народов, я не стану роптать, потому что уже теперь могу с благодарностью сказать: я не напрасно жил и трудился!

И, откинувшись на спинку кресла, он с удивительно мягким, почти умильным выражением обратился к небу обычно столь холодный, проницательный, острый взгляд.

В дверь постучали.

По знаку министра камердинер впустил легационсрата¹⁷ фон Кейделя с бумагой в руках.

¹⁶ Круговорот жизни (лат.).

¹⁷ Советник посольства.

– Добрый день, дорогой Кейдель! – сказал граф Бисмарк, подавая руку. – Я сейчас с грустью и прискорбием размышлял о непрерывной борьбе, которую в одиночку должен вести против заклятых врагов и неразумных друзей, ради глубоко скрытой в моем сердце цели. Я был несправедлив, – продолжал он задушевным тоном и с приветливой улыбкой, – я забыл о верном, неутомимом и негласном товарище в моих трудах.

Глубокое чувство выразилось в благородных, резких чертах Кейделя, который, устремив спокойно темные глаза на первого министра, сказал:

– Ваше сиятельство неизменно может быть уверено в том, что мое сердце всегда будет верно хранить ваши тайны и что я никогда не устану бороться за великую цель, к которой вы нас ведете. Быть может, уже близка новая фаза этой борьбы, требующая напряжения всех наших сил, – прибавил чиновник, посмотрев на бумагу, которую держал в руках.

В глазах Бисмарка блеснула молния, на лбу проступили морщинки.

– Нота графа Перпонхера из Гааги, только что принесенная из шифровального бюро, – отвечал Кейдель. – Голландский король сообщил Перпонхеру об уступке Люксембурга Франции и спрашивал, какого мнения будет Пруссия, если он передаст свои верховные права на герцогство.

– Я знал, что там затевается что-то! – вскричал Бисмарк, сверкнув взглядом. – Под этою тихой поверхностью скрывалось нечто. В Париже, конечно, не могут понять темной глубины наполеоновской политики, – прибавил он недовольным тоном.

И, выхватив из рук Кейделя бумагу, граф пробежал ее глазами.

– Это была бы немецкая Савойя и Ницца, – сказал он, побагровев от гнева и бросая бумагу на стол. – Теперь понятно, почему с прошлого года Голландия старается удалить немецкий гарнизон из Люксембурга. Но Наполеон ошибается, и его маркиз де Мутье не знает нынешнего Берлина! – воскликнул Бисмарк, быстро встав и сделав несколько шагов по комнате. – Они не получают ни пяди германской земли, ни горсти немецкой почвы, ни капли воздуха, в котором хотя бы когда-нибудь раздавались звуки немецкой песни!

Граф остановился перед Кейделем и топнул ногой.

С веселой улыбкой и блестящими взорами смотрел легационсрат на стоявшего перед ним великого мужа, который словно готовился с мечом в руке вести немецкие войска к границам отечества.

– Германия не покупает своего единства и величия и тем более не должна жертвовать для этого перлами из короны национальной славы! – вскричал Бисмарк, все еще пребывая в сильном волнении. – Скверно уже то, что в их руках находятся древние имперские области, Эльзас и Лотарингия. Но, – продолжал он, как бы следя за картинами, которые представляли перед его мысленным взором, – быть может, если они протянут дальше свои жадные руки... если доведут до войны...

Он замолчал, погружившись в размышления. Лицо его приняло привычное спокойное выражение, голос стал ровным:

– Впрочем, я никак не могу понять сообщения, сделанного голландским королем; по-видимому, все дело состояло в том, чтобы поразить нас посредством *fait accompli*, а это сообщение совершенно нарушает игру Наполеона.

– Королю пришлось бы плохо, – сказал фон Кейдель, – последствия же были бы для него очень опасны. Итак, – продолжал он, – ваше сиятельство решилось не соглашаться на сделку?

Граф Бисмарк гордо поднял голову и с бесстрастным, холодным взглядом, сказал:

– Никогда моя рука не подпишет трактата, по которому отделяется от отечества немецкая область, и никогда король не поставит меня в такое положение, чтобы мне пришлось отклонить подписание такого трактата. Но, – прибавил он после минутного размышления, – не станем приступать к вопросу с конца. С ним нужно обращаться осторожно; в настоящую минуту я не желал бы войны с Францией. Да, эта война неизбежна, но чем продолжительнее мы сохра-

ним мир, тем вернее будет окончательное разрешение проблемы: Германия сплотится изнутри, и европейская политика станет благоприятнее к нам.

Задумавшись, Бисмарк заходил по комнате.

– Наполеон думает, что может воспрепятствовать окончательному объединению всей Германии. – Граф говорил отдельными фразами, останавливаясь по временам, между тем как фон Кейдель напряженно следил за всеми его движениями. – Теперь он хочет только вознаграждения за увеличение Пруссии, хочет поставить Пруссию против Франции – в глазах всего мира я пока еще прусский министр, который обязан заботиться только об увеличении территории и могущества Пруссии. Ему следует дать немецкий ответ. Замысел нужно не только разрушить, но и обратить в свою пользу. Сегодня вечером, кажется, у меня прием? – спросил он у фон Кейделя.

– Да, так.

– Отлично, – сказал Бисмарк. – Наполеон предполагает одурачить меня и должен вдруг встретиться с немецкой нацией. Я останусь еще на некоторое время прусским министром, который принужден подчиниться национальному стремлению – это поставит вас в выигрышное положение в отношении других держав, особенно Англии. Они желали бы сделать Пруссии небольшой шах, но уже начинают страшиться рыка немецкого льва. И этот вопрос должен быть обсужден всей Европой. Вот принцип, о котором так часто говорил французский император, *eh bien*¹⁸, пусть попробует сам: с одной стороны – европейские трактаты, с другой – общественное мнение Германии. Я защищен с обоих флангов.

Он усмехнулся, потирая руки.

– Удивляюсь комбинациям вашего сиятельства, – сказал фон Кейдель, улыбаясь. – Я совершенно уверен, что Наполеон не ожидает найти нас в этом положении.

– Надеюсь, его ждет еще много неожиданностей, я знаю, как надобно поступать с ним, – сказал Бисмарк. – Однако все дело теперь в том, чтобы начать игру и затаить в сердце последнюю мысль, а потом я отправлюсь к королю.

Он задумался на минуту.

– Телеграфируйте Перпонхеру, – велел он фон Кейделю, который тотчас взял лист бумаги и, присев к письменному столу, стал записывать под диктовку первого министра, – пусть он ответит королю, что императорское правительство и его союзники, чье решение вызывает у нас вопрос, не уполномочены в настоящую минуту решать оный, что они возлагают на его голландское величество ответственность за его личные действия и что императорское правительство, не принимая решения, должно узнать сперва, как посмотрят на него императорско-немецкие союзники, а также государства, подписавшие трактат 1839 года. – Граф подумал с минуту, затем продолжил: – А также общественное мнение Германии, имеющее теперь свой орган в виде рейхстага. Таким образом, мы будем иметь сильное прикрытие с обеих сторон, не свяжем себе рук и сможем спокойно ждать, готовясь к будущему.

Фон Кейдель подал ему бумагу.

Граф пробежал ее глазами, взял перо и поставил размашистую подпись.

– Я прочту ответ королю, – сказал он. – Хотя ответ ни к чему не обязывает, его не следует отправлять без высочайшего одобрения.

– Фон Тиле, – доложил камердинер.

Граф кивнул головой, вошел действительный тайный советник и государственный секретарь фон Тиле.

– Вместе со мной пришли в приемную лорд Лофтус и Бенедетти, – сказал он, кланяясь первому министру. – Я просил их пропустить меня вперед, потому что я должен передать вашему сиятельству донесение, только что полученное и несколько удивившее меня.

¹⁸ Вот и хорошо (*фр.*).

– Бенедетти здесь? – спросил граф Бисмарк. – Тем лучше – он показывается редко со времени своего возвращения ко дню рождения короля. Ему приготовлен небольшой сюрприз. Однако что там у вас? – обратился он к Тиле.

– Только что у меня был граф Биландт, – отвечал Тиле, – и сообщил мне, что нидерландское правительство спрашивает нашего мнения относительно уступки Франции великого герцогства Люксембург, о чем уже ведутся переговоры. Я удивился, – продолжал Тиле, – и, честно сказать, ничего не понял.

Граф Бисмарк улыбнулся.

– Сейчас поймете, – сказал граф, подавая государственному секретарю депешу графа Перпонхера и свой черновой ответ. – Прочитайте. Не будь дело так серьезно, – продолжал он, пока Тиле читал бумаги, – оно было бы чрезвычайно комично! Люксембургский великий герцог ведет переговоры с Францией о продаже своих владений и спрашивает нас, что мы об этом думаем, и в то же время в качестве нидерландского короля просит нашего посредничества. Вот вам олицетворение союза стран и олицетворение раздельности государей!

Затем с серьезным видом прибавил:

– Они хотят завязать гордиев узел, но забывают, что мы взяли за меч и не постесняемся рассечь этот узел.

Тиле окончил чтение бумаг.

– Действительно, редкое событие, – сказал он, возвращая депешу первому министру.

– Сюрприз за сюрприз! – отозвался Бисмарк. – Граф Биландт еще здесь?

– Вернется через час, – отвечал государственный секретарь. – Я обещал, что немедленно передам вашему сиятельству его сообщение.

– Прошу вас ответить ему, – сказал Бисмарк, – что мы не можем исполнить дружеской просьбы его правительства, потому что предположенные переговоры еще не объявлены.

Тиле поклонился.

– Потрудитесь, – продолжал первый министр, – собрать в архиве и прислать мне все акты о переговорах и заключении трактата в 1831 году относительно великого герцогства. Сегодня после обеда мы еще поговорим об этом деле. – Теперь я побеседую несколько минут с обоими посланниками, а потом отправлюсь к королю.

Между тем в приемной сидели английский посланник, лорд Август Лофтус, а также посол Наполеона III Бенедетти.

Лорд Лофтус, типичный английский джентльмен, вальяжно сидел в кресле, перед ним стоял Бенедетти, с холодной улыбкой на лице, выдававшей сочетание равнодушия и редких умственных способностей.

– Тиле, кажется, очень спешил, – сказал он. – Не знаете ли вы, милорд, чем может объясняться такая поспешность в нынешнее спокойное время?

– Ба! – невозмутимо воскликнул лорд. – Ровно никакой. Разве что какое-нибудь внутреннее дело, личный вопрос, требующий немедленного разрешения.

Проницательный взгляд Бенедетти обратился на сидящего спокойно лорда.

– Мне кажется, – сказал Бенедетти, делая шаг к англичанину и понижая голос, – что под прикрытием наружного глубокого спокойствия и исключительного занятия внутренними делами ведутся деятельные переговоры, и притом такие, которые заслуживают внимания нас обоих как представителей интересов наших государств!

Лорд Лофтус с удивлением взглянул на своего коллегу.

– От вас, – продолжал Бенедетти тем же тихим голосом, – конечно, не укрылись дружественные отношения здешнего двора к России: вы помните настроение Санкт-Петербурга при окончании последней войны и помните также, что тогда внезапно отозвали Мантейфеля из армии и отправили в Россию с чрезвычайным поручением. – Что делал в Санкт-Петербурге посол короля?

Лорд Лофтус пожал плечами.

– Вскоре затем, – продолжал Бенедетти, – отозвали в Петербург русского посла при здешнем дворе, господина Убри, который, как вы помните, сильно обеспокоился чрезвычайными успехами прусского оружия и их последствиями. По возвращении он заговорил совершенно иным языком: высказывал удовольствие относительно положения дел, что резко противоречило его прежним словам. Этому должна быть серьезная причина, – продолжал француз с нажимом. – Вероятно, заключен договор, так же тайно, как и те договоры с южными державами, которые теперь обнародованы и уничтожают пражский мир. С того времени оба двора, берлинский и петербургский, смелее и решительнее идут своим путем: Россия на Востоке, Пруссия в Германии, и между обеими не замечается ни малейшего неудовольствия. Нет ли тут взаимных гарантий, которые могли бы возбудить в нас опасения – при той солидарности интересов Англии и Франции на Востоке?

– Дорогой посланник, – отвечал лорд, потягиваясь на кресле. – Вы, кажется, склонны видеть тучи там, где их нет. Со своей стороны, в расширении Пруссии я вижу залог продолжительного мира в Европе. Прусские границы были дурно округлены, вследствие этого Пруссия беспокоилась и была опасна для окружающих стран; теперь она получила, что ей нужно, и станет ревностно заботиться о мире, чтобы не подвергать опасности своих приобретений и чтобы ассимилировать их. Что до России, то у нас есть парижский трактат¹⁹ и флот для его поддержания! Я не вижу ничего опасного в дружеских отношениях двух держав, связанных родством и традициями.

Бенедетти поморщился и со вздохом поглядел на своего коллегу.

Но прежде чем он успел ответить, дверь в кабинет первого министра отворилась, в приемную вышли Тиле и фон Кейдель.

– Еще раз благодарю за вашу любезность, – сказал Тиле, – как видите, я не долго истощал ваше терпение.

И пошел за Кейделем, который, поклонившись дипломатам, оставил приемную.

На пороге кабинета появился Бисмарк.

– Добрый день, господа посланники! – сказал он, вежливо раскланиваясь. – Я к вашим услугам. Кому угодно первому пожаловать?

Бенедетти указал рукой на лорда Лофтуса, и тот последовал за графом в его кабинет.

– Я задержу вас не более минуты, – сказал английский посол, садясь напротив первого министра. – Европа так спокойна, что едва ли есть хотя бы один вопрос, о котором стоило бы обменяться мнениями. Я прибыл для того только, чтобы спросить вас, как идут переговоры об имуществе ганноверского короля. Надеюсь, все устроится хорошо?

– Из Гитцинга²⁰ представляют различные затруднения, – отвечал граф Бисмарк, – которые тормозят быстрое и удовлетворительное решение дела. Король Георг приказал своим полномочным домогаться части королевских доменов. Вы, конечно, понимаете, что я не могу согласиться на это, не могу дать низложенной династии столь обширной недвижимости в ее прежнем королевстве. Кроме того, я не совсем ясно понимаю такое требование, ибо король, будучи землевладельцем в своем прежнем королевстве, становится в прямое подданство, даже если и не признал присоединения... Потому-то, – продолжал граф, – необходимо изыскать средства для обеспечения имущества, чтобы король не растратил его на какое-либо рискованное предприятие; я представляю интересы его родственников и не должен давать средств в руки антипрусской агитации; на все это нужно время, тем более продолжительное, что королевские полномочные жалуются на редкость инструкций от графа Платена, которые притом бывают неясны, часто противоречивы.

¹⁹ Мирный договор в Париже в 1856 г. завершил Крымскую войну и навязал России крайне невыгодные условия.

²⁰ Хитцинг – район в Вене, где поселился в эмиграции низложенный король Ганновера Георг V (1819—1878).

– Прошу вас, граф, – сказал лорд Лофтус, прерывая министра, – прошу вас всегда помнить, что во всем этом деле я представляю скорее личное желание королевы, нежели интересы Англии. Конечно, ее величество желает, чтобы ее кузен, по рождению принц английского дома, занял после утраты престола такое положение, которое соответствовало бы его рождению и рангу...

– И можете быть уверены, – сказал граф Бисмарк, – что желание королевы – закон для меня, тем более что оно вполне согласуется с видами моего государя, который сердечно желает, чтобы политическая катастрофа, разразившаяся над ганноверским домом Гвельфов, не уронила положения высокой фамилии. Я должен еще прибавить, что и со своей стороны искренно желаю видеть столь высокий, родственный всем династиям дом в достойном и соответствующем положении. Будучи в эмиграции, король наверняка удостоится титула и содержания английского герцога, дабы он мог жить сообразно своему достоинству, если впоследствии вздумает поехать в Англию. Впрочем, – подытожил министр, – я тотчас велю справиться и сообщу вам о положении дел.

– Благодарю вас, – отвечал лорд Лофтус. – Ее величеству, конечно, будет приятно слышать такие новости. – Лофтус собрался встать. – Задать этот вопрос было единственной целью моего посещения.

– Могу я вас удержать на минуту? – спросил граф спокойным, почти равнодушным тоном. – Вы можете подготовить свое правительство к рассмотрению вопроса, который, без сомнения, сделается предметом европейской конференции?

Лорд Лофтус с величайшим изумлением посмотрел на графа.

– Конференции? – воскликнул он. – Какая может быть тому причина?

Граф Бисмарк взял депешу графа Перпонхера, лежавшую пред ним на столе, и, заглянув в нее, сказал:

– Голландский король сообщил нашему послу в Гааге о готовящейся продаже Люксембурга Франции...

Лорд вскочил.

– Стало быть, – сказал он, – была доля истины в тех слухах, которые недавно стали появляться в газетах и которые потом опровергались как неосновательные?

– Вероятно, так, – сказал Бисмарк спокойно. – Существование Люксембурга утверждено международными трактатами; следовательно, раз прекратил существовать немецкий Союз, и в отношении Люксембурга должны произойти некоторые перемены, то должны собраться державы, подписавшие указанные трактаты, и дать новые гарантии. До тех же пор *status quo*²¹ должно оставаться неприкосновенным.

– Но это может привести к серьезному столкновению! – вскричал в испуге лорд.

– Конечно, да, если не вмешаются европейские державы, – отвечал граф с непоколебимой твердостью. – Мы не уклонимся от такого столкновения, о котором я сожалел бы и до коего, без сомнения, никогда не довел бы. Впрочем, – продолжал он после минутного молчания, – вы, кажется, немало заинтересованы в этом: Люксембург есть шаг Франции к Бельгии, и рано или поздно то или другое французское правительство...

– Вы ничего не имеете против того, чтобы я конфиденциально сообщил в Лондон о нашем разговоре? – спросил лорд.

– Напротив, – ответил граф. – Сообщите конфиденциально или официально – я не хочу скрывать ни самого дела, ни своего мнения о нем. Мне будет приятно знать точку зрения вашего правительства на этот счет, особенно если она будет согласовываться с моей.

Лорд Лофтус встал.

²¹ Прежнее положение (*лат.*).

– Опасность для спокойствия Европы, – сказал Бисмарк невозмутимо, – может явиться тогда только, когда факт свершится без участия держав, подписавших трактаты.

– Я буду просить лорда Стэнли немедленно обсудить вопрос! – сказал лорд Лофтус, прощаясь с первым министром, который проводил его до дверей и потом пригласил Бенедетти войти в кабинет.

Французский посол занял место, которое только что освободил лорд Лофтус.

– Вас редко видно, дорогой посланник, – сказал граф Бисмарк приветливо. – Уже давно я не имел удовольствия беседовать с вами.

– Вам известно, граф, – отвечал Бенедетти, – что я был нездоров... Я только для того возвратился, чтобы не пропустить дня рождения его величества, и должен был беречь себя. Впрочем, при настоящем глубоком спокойствии Европы не многие предметы требуют обсуждения.

Граф не отвечал, но спокойно и пристально смотрел на посланника.

– Меня беспокоит только один пункт, – продолжал Бенедетти, – а именно Восток. Дела в Сербии принимают весьма серьезный оборот, а положение Австрии, кажется, не позволяет поддерживать порядок на Балканах. Мне хотелось бы думать, что все европейские державы, и особенно Пруссия в своей новой форме, должны добиваться того, чтобы русская политика не делала успехов в устье Дуная, ибо всякая потеря Турции усиливает могущество России.

– Дорогой посол, – сказал граф Бисмарк равнодушным тоном, – признаюсь, я слишком занят устройством несколько запутанных германских дел, чтобы следить за отдаленными вопросами, которые притом не требуют немедленного решения. – Вам известно, – продолжал он, едва прищулив глаза, – что я никогда не читаю корреспонденции константинопольского посла?

По лицу Бенедетти скользнуло выражение изумления, на губах мелькнула улыбка.

– Если вам поручено, – продолжал граф Бисмарк, – узнать мое мнение о каком-либо специально восточном вопросе, то я попрошу вас конкретизировать этот вопрос и дать мне время обсудить его.

– Я не имею такого поручения, – отвечал посланник, – однако же интерес всех держав в этих вопросах...

– Если Россия действительно задумывает или готовит какой-либо шаг на Востоке, – сказал граф Бисмарк, – это, безусловно, затрагивает интересы других держав, и, – прибавил он, встав и устремив на посланника твердый, проницательный взгляд, – само собой разумеется, подобный шаг не может быть сделан без ведома и согласия Германии.

Бенедетти молчал.

– Мне очень приятно ваше посещение, – сказал граф спокойным тоном после небольшой паузы. – Быть может, вы разрешите загадку, которой я никак не могу понять?

Бенедетти слегка поклонился и вопросительно поглядел на первого министра.

– Граф Биландт, – продолжал фон Бисмарк, не сводя с французского дипломата проницательного взора, – просит у нас оказать голландскому кабинету содействие в переговорах, которые поведет последний с Францией относительно уступки ей великого герцогства Люксембург.

Бесцветное лицо посланника стало еще бледнее, в глазах сверкнула молния; он быстро опустил глаза и дрожащими губами произнес:

– Граф Биландт? Нидерландское правительство? Люксембург? Ничего не понимаю!

– И голландский король, – продолжал граф Бисмарк, – также сообщил нашему послу об этих переговорах.

– Голландский король?! – вскричал Бенедетти, в голосе которого прозвучали негодование и удивление.

– Быть может, вы дадите мне ключ к этим сообщениям, – сказал Бисмарк прежним равнодушным тоном. – Я не вполне ясно понимаю их, потому что ничего не знаю о переговорах относительно Люксембурга.

Бенедетти овладел собою и твердо, не моргнув глазом, выдержал пристальный взгляд первого министра.

– Правду сказать, – отвечал посланник, – я в настоящую минуту не могу дать удовлетворительного объяснения, но тотчас напишу в Париж и сообщу вам ответ.

– С нетерпением буду ждать его, – отрезал граф спокойно и холодно.

– Быть может, – продолжал француз, – будет целесообразно немедленно довести до Парижа ваше мнение об этом деле?

– Мое мнение? – проговорил граф медленно. – Едва ли оно могло сложиться у меня, принимая в расчет недостаток сведений. Но, во всяком случае, я убежден, что голландский король, или, правильнее сказать, великий герцог Люксембургский – в Гааге четко разделяют эти две личности – прибавил он с улыбкой, – не имеет никакого права располагать верховным правом распоряжаться герцогством без ведома и содействия держав, которые трактатами 1839 года определили и гарантировали отношения указанной страны.

Бенедетти не мог скрыть своего неудовольствия.

– Следовательно, – продолжал граф Бисмарк, – для осуществления указанных переговоров необходима конференция упомянутых держав, что, конечно, вполне соответствует воззрениям императора, вашего государя, который всегда склонен выносить открытые вопросы на решение европейского ареопага.

Посланник стиснул зубы.

– Следовательно, вы предлагаете конференцию? – вскинулся он.

– Я? – воскликнул граф удивленно, – на каком основании? Разве я хочу изменить что-нибудь в *status quo* великого герцогства? Меня вполне устроит, если все останется по-прежнему!

– Но ваше отношение, отношение Пруссии к вопросу? – спросил Бенедетти с плохо скрытым нетерпением.

– Пруссии? – переспросил Бисмарк. – На данном этапе Пруссия едва ли может выработать какую-либо позицию. Германия же и северогерманский союз, – прибавил он медленно, – вот это иное дело.

– Граф, – сказал Бенедетти, как бы решившись внезапно, – давайте говорить откровенно. Если будут назначены переговоры, о чем я вскоре узнаю, если голландский король решится уступить Люксембург Франции, то как вы посмотрите на это округление французских границ? Бесконечно малое, однако, – прибавил он с улыбкой, – в сравнении с прошлогодними приобретениями Пруссии?

Граф Бисмарк сложил пальцы рук и после краткого размышления отвечал:

– Вы забываете, дорогой посол, что я уже не прусский министр иностранных дел, а канцлер северогерманского союза, и не могу высказывать своего мнения в вопросе, касающемся Германии, не выяснив сперва мнения членов союза. Кроме того...

– Кроме того? – переспросил Бенедетти.

– Государственно-правовые отношения Люксембурга к Германии, – продолжал граф, – существенно изменились вследствие распада германского союза, стали сомнительны – Лимбург не принадлежит нам больше... право обладания крепостью составляет в Люксембурге *status quo*, которое не может быть изменено. Но вместо государственно-правовых отношений между Люксембургом и Германией на первый план выступили национальные отношения.

Бенедетти с удивлением смотрел на первого министра.

– Видите ли, дорогой посланник, – продолжал граф, – события минувшего года сильно возбудили национальную гордость и щекотливость немцев. Я, как уже заметил, теперь не прус-

ский министр, а канцлер северогерманского союза, поэтому обязан принимать в расчет национальное немецкое чувство и не могу заверить, чтобы общественное мнение в Германии было так же двусмысленно в отношении люксембургского вопроса, каково может быть государственное право.

– Но общественное мнение ничего не знает об этом! – заметил Бенедетти.

– Как только заговорят об этом в Гааге, – граф махнул рукой, – то на завтра же вопрос будет освещен во всех газетах. Я сам не знаю, должен ли умалчивать о деле – рейхстаг собрался, и если он коснется вопроса...

Бенедетти с нетерпением потер руки.

– Если я правильно понимаю вас, – сказал он, – то ваше мнение зависит от...

– От мнения держав, подписавших трактаты 1839 года, – сказал Бисмарк спокойно, загибая при каждой фразе по пальцу на левой руке, – от решения наших членов Союза; от общественного мнения и от решения рейхстага, если вопрос будет поставлен на его обсуждение.

Бенедетти встал.

– Я немного удивлен, граф, – сказал он спокойным и официальным тоном, – что вы, обычно так быстро принимающий решения, в настоящем случае ставите его в зависимость от столь многих условий.

– Боже мой! – воскликнул Бисмарк, пожимая плечами. – Мое положение при новых условиях стало так запутано. Я должен принимать в расчет столько факторов...

– Но во всяком случае, – проговорил француз, вставая, – я могу написать в Париж, что весь вопрос будет здесь рассмотрен и решен дружественно и снисходительно, как подобает превосходным отношением обоих государей и правительств.

– Можете ли вы сомневаться в этом? – сказал граф серьезно, провожая Бенедетти до дверей.

Когда французский дипломат вышел из кабинета, он промолвил:

– Итак, благодаря нескромности или опасениям голландского короля тайные дела вышли на свет божий... Завтра взволнуются все европейские кабинеты... Теперь к королю, а затем напомним на новость немецкой нации!

Глава шестая

В светлом рабочем кабинете берлинского дворца стоял король Вильгельм и внимательно рассматривал ряд рисунков, которые подавал ему стоявший перед ним гофрат – тайный советник Шнейдер.

Одетый в черный сюртук король казался бодрым и цветущим; по-юношески свежее выражение красивого мужественного лица, обрамленного седой бородой, нисколько не изменилось от трудов и напряжения прошлогоднего похода. В нем проявилась только задумчивая важность, которая, в соединении со спокойной кротостью, внушала почтение и симпатию всякому, кто видел лицо короля.

Тайный советник, коротко остриженные волосы которого поседали еще больше, указывал на раскрашенный эскиз костюмов и заговорил своим звучным и выразительным голосом:

– По приказанию вашего величества я со всей исторической верностью изготовил рисунки старинных мундиров, виденных вами на празднике в день рождения вашего величества. Вот костюм мушкетеров великого курфюрста: красный сюртук с золотом, полы подбиты белым шелком, португезия синяя с золотом, треугольная шляпа с белыми и синими перьями, сапоги с широкими растрескиваниями...

Он отложил в сторону рисунок.

– А здесь, – продолжал гофрат, показывая королю другой эскиз, – фербеллинские драгуны в белых сюртуках, на шее серебряные значки с красным бранденбургским орлом, синие отвороты и лакированные ботфорты, в руке секира. – Здесь, – говорил он далее, показывая другие рисунки, на которые взглядывал король, – костюм Людовика XIII из кадрили герцога Вильгельма... А здесь костюмы венгерских магнатов и валахские...

– Чудесный праздник устроили мне тогда, – сказал король, – и совершенно в моем вкусе, более приятный, нежели тот турнир, который был тогда дан в честь моей сестры Шарлотты.

– Портрет которой нарисован на прекрасной вазе в Потсдаме? – заметил советник.

– Как быстро летит время! – промолвил король, мысленно следя за милыми картинами минувшего и грустно улыбаясь. – Сестра Шарлотта умерла... Немного осталось живых из той молодежи, которая весело толпилась перед важными взорами моего отца! Сколько покоится в могиле сердец, которые тогда бились любовью и молодостью, и сколько чувств умерло в сердцах еще живущих!

Он молча простоял с минуту, закрыв глаза. Гофрат смотрел на него с глубоким участием.

Король взял рисунок, изображавший костюм драгуна великого курфюрста, и долго рассматривал его.

– Я был поражен, – сказал он потом, – увидев этих кавалеристов минувшего времени, это олицетворение прошлого, которое положило первый камень нынешнего величия Пруссии. Вот красный бранденбургский орел на значке фербеллинского рейтара – предчувствовал ли великий Бранденбург, так горячо любивший честь и величие Германии, что красный орел должен будет уступить черному и что прусский король завершит под черно-белым знаменем дело, начатое бранденбургским курфюрстом? И великий Фридрих, этот государь с французским языком и немецким сердцем – что сказал бы он, увидев своего внука с державным мечом немецкой нации, которая собирается вокруг меня под черно-бело-красным знаменем!

Тайный советник покачал головой.

– Ваше величество, – сказал Шнейдер брюзгливым тоном, – красный цвет нравится мне только на воротниках королевских прусских мундиров – на знаменах я его не люблю, и мое знамя всегда останется черно-белым – и это знамя сохранит порядок в Германии. – Надеюсь, что красный цвет никогда не будет преобладающим в прусском штандарте!

Король улыбнулся.

– Я знаю, что вы нелегко соглашаетесь на нововведения: следуйте же твердо и непоколебимо за старым знаменем, я надеюсь, что вы никогда не придете в столкновение со своими стремлениями, ибо, куда бы ни понес я победоносные прусские знамена, там никогда не пострадает честь и величие Германии. Впрочем, вот еще нововведение, – продолжал король, подходя к маленькому столу, – которое заинтересует вас, потому что вы телом и душою солдат. Комиссия под председательством кронпринца, имеющая целью определить для инфантерии самое лучшее вооружение на основании опытов последнего похода, представила мне некоторые модели...

И взяв каску, государь подал ее гофрату.

– Посмотрите, – сказал король, – она кажется мне целесообразнее прежней: сделана из цельного куска кожи, так что нет надобности в металлическом приборе, покрывавшем швы от этого каска стала легче.

Тайный советник взвесил каску на руке и осмотрел со всех сторон.

– В походе, конечно, будут употребляться только фуражки, – сказал король.

– Ваше величество, – отвечал Шнейдер, положив каску на стол. – Эта часть военного наряда, во всяком случае, очень практична, хотя и не предназначена для похода. Знаете, ваше величество, какой я предпочитаю головной убор в походе?

– Какой? – заинтересовался Вильгельм.

– Старый черный кивер с белым крестом ландвера 1813 года – он уже испробован... как...

– Как Вильгельм Шульце, – подсказал король с улыбкой.

– И Вильгельм Шульце также имел успех! – заметил гофрат.

– И еще какой! – сказал король, дружески хлопая советника по плечу. – И дай бог, – прибавил он важно, – чтобы прусский ландверманн, сражаясь с Божией помощью за короля и отечество, всегда и везде имел успех, пока будут зеленеть старые сосны на песках Бранденбургской марки!

– Ваше величество, – отвечал гофрат, обратив на короля свои черные, ясные глаза, – если когда-нибудь, а, я думаю, этого не избежать – столкнется житель марки с пикардийцем, тогда возьмите меня с собой и позвольте надеть старый кивер с белым крестом.

Король Вильгельм погрузился в глубокую задумчивость.

– Как чудесно настоящее время! – сказал он после долгого молчания. – Какие сильные, глубокие потрясения и перемены принесло оно с собой... В течение немногих недель история сделала громадный шаг. И странное дело, – продолжал он, – когда прежде совершались важные перевороты, орудием служила молодая рука, теперь же мне, старику, суждено совершить столь великое и необыкновенное дело.

– Ваше величество! – вскричал гофрат. – Прусский король никогда не стареет, потому что может сказать о себе слова Людовика XIV, но только в обратном смысле: *le roi c'est l'état!*²² Прусское государство всегда молодо, потому что постоянно воплощается в вечно молодой армии!

– Ее королевское высочество герцогиня Мекленбургская! – доложил дежурный камердинер и по знаку короля отворил двери.

Вошла юная герцогиня, прусская принцесса Александрина.

Она быстро подошла к королю и с детской покорностью поцеловала ему руку, потом дружески кивнула тайному советнику, который отвесил ей глубокий поклон.

– Я принесла вашему величеству несколько фотографий дам, которые участвовали в празднике, – сказала герцогиня, открыв портфель, между тем как король с любовью смотрел на нее.

²² Король – это государство (фр.).

– Шнейдер показывал мне сейчас рисунки костюмов, – сказал король, а потом с улыбкой прибавил: – и со своим обычным искусством и точностью составил описание прекрасного праздника, за устройство которого я еще раз от всего сердца благодарю тебя, милая Александра.

Герцогиня поклонилась и взглянула на рисунки.

– Превосходно! – сказала она. – Составив головы с фотографией, мы получим великолепные картины.

Она вынула из портфеля множество снимков и подала их гофрату.

Одну из них она оставила у себя и задумчиво посмотрела на нее.

– Вот, – сказала она нетвердым голосом, бросая робкий взгляд на короля, – фотография ганноверской королевы... Вашему величеству известно, как я люблю ганноверскую фамилию... Королева совершенно поседела.

Король Вильгельм молча протянул руку и взял фотографию у принцессы.

Шнейдер с волнением следил за движениями короля.

Вильгельм долго и молча рассматривал портрет. Его лицо приняло выражение бесконечной нежности и кротости.

– Бедная... бедная королева! – прошептал он. – Много предстоит ей горя! – О как печально, что каждый великий шаг в истории влечет за собою столько страданий! Как хотел бы я облегчить участь этой королевской фамилии и устроить ее судьбу, которая была бы велика и прекрасна в будущем. К сожалению, сам король Георг препятствует осуществлению моих желаний. Он все еще запрещает королеве оставить Мариенбург, где она находится в ложном положении и острее чувствует свою печальную участь!

Из глаз герцогини упали крупные слезы.

– Боже мой! – вскричала она. – Не могу выразить вашему величеству, как прискорбно мне думать о бедной королеве в Мариенбурге, стоит вспомнить о тех счастливых часах в семейном кругу, которые я провела там два года тому назад, на обратном пути из Нордерней – о тех пожеланиях и надеждах, с которыми я уехала оттуда! А теперь... Ведь королеве не причинят никакого вреда? – спросила она с мольбой в голосе.

– Я был принцем и офицером, прежде чем стал королем, – гордо ответил король Вильгельм, – и никогда не забывал того уважения, какое обязан оказывать даме, родственнице... и несчастной государыне, – прибавил он с нажимом. – Королева будет там жить как моя гостья, и безопасность государства требует таких мер, чтобы присутствие ее не служило прикрытием или точкой опоры для гвельфской агитации. Если бы можно было убедить короля Георга, чтобы он разрешил королеве уехать... Но прямо я здесь действовать не могу...

Герцогиня задумалась.

– Я знала, что ваше величество всегда поступает великодушно и благородно, – сказала она. – Нельзя ли как-то убедить короля Георга? Быть может...

– Однако же, – сказал государь, – я отдаю Шнейдера в твое распоряжение, чтобы он привел в порядок твои картинки... Возьми его с собой и устрой все получше!

Лицо герцогини снова повеселело. Лукаво улыбаясь, она поглядела на старого друга королевского дома.

– Не знаю, – сказала она, – захочет ли тайный советник работать со мной – я мучила его прежде, в саду Сан-Суси, когда он приходил к королю, не так ли? – прибавила Александра шутливо. – Я бывала иногда капризной принцессой.

Гофрат поклонился и торжественным голосом заявил:

– Простите, ваше величество, если я осмелюсь обличить ее королевское высочество в неправде!

– Все тот же! – вскричала герцогиня. – Еще покойный король говаривал: с ним нельзя связываться...

– Прощайте! – произнес король Вильгельм с улыбкой.

Герцогиня вышла из кабинета, поцеловав руку короля; за нею последовал гофрат, сделав Вильгельму глубокий поклон.

– Министр фон Шлейниц ожидает приказаний, – доложил камердинер.

Король утвердительно кивнул головой, вошел министр королевского двора: стройный, гибкий, как юноша, мужчина с густыми черными волосами и усами; ни по лицу, ни по осанке нельзя было предположить, что ему почти шестьдесят лет. На нем был синий министерский вицмундир с черным бархатным воротником, на груди золотая звезда красного орла.

– Добрый день, дорогой Шлейниц! – сказал король приветливо. – Как поживаете? Что поделявают ваша жена и княгиня Гацфельд?

– Всеподданнейше благодарю ваше величество за милостивый вопрос, – отвечал фон Шлейниц. – Дома у меня все здоровы.

– Передайте дамам мой поклон, – сказал король. Теперь к делу – вы приготовили контракт?

Фон Шлейниц вынул бумагу из своего портфеля.

– Точно так, ваше величество! – отвечал министр. – Редакция брачного контракта между его королевским высочеством, графом Фландрским, и ее высочеством, принцессой Марией Гогенцоллерн, одобрена его высочеством принцем и бароном Нотомб, и если ваше величество апробирует ее теперь, то завтра же я и Нотомб подпишем контракт. Обряд назначен на 21 апреля, а 23-го прибудет сюда его бельгийское величество с графом Фландрским, о чем вам доложит министерство иностранных дел.

– Если князь Гогенцоллерн и бельгийский король согласны, – сказал Вильгельм, просматривая документ, – то все решено – это семейное дело Гогенцоллернов, в котором я принимаю участие только в качестве главы всего дома, а следовательно, подписывайте контракт.

Постучали в дверь.

Вошел дежурный флигель-адъютант, ротмистр граф Лендорф – высокий, стройный мужчина, и доложил:

– Первый министр, граф Бисмарк, испрашивает у вашего величества аудиенции по весьма важному делу.

Король удивился.

– Пусть войдет, – сказал он, затем обратился к министру двора: – Итак, дорогой Шлейниц, подписывайте контракт, одобренный князем Гогенцоллерном, и еще раз передавайте мой привет своим дамам.

Фон Шлейниц почтительно удалился, обменявшись в дверях поклонами с Бисмарком, который вошел стремительным шагом. На графе был белый мундир с желтым воротником и отворотами, звездой черного орла на груди и с блестящей каской под мышкой.

– Что за весть вы принесли, граф Бисмарк? – спросил король, дружеским кивком приветствуя первого министра. – Вы веселы, следовательно, известия хороши.

– Хороши или дурны, – сказал Бисмарк, – это зависит от воли вашего величества; для меня же хорошо всякое известие, проливающее свет на запутанное положение. Начинается первая фаза размолвки с Францией!

Лицо короля омрачилось. Он пристально посмотрел на министра, который раскладывал принесенные им бумаги.

– На сцену опять выходит вопрос о вознаграждении, – сказал граф, – император хочет купить Люксембург у голландского короля.

– Люксембург? – вскричал король и глаза его вспыхнули. – Германскую область?

– Точно так, ваше величество, – отвечал министр. – Хотели все устроить втихомолку и явить *fait accompli*. К счастью, король обеспокоился и открыл нам всю игру, за что его, конечно, не поблагодарят в Париже. Извольте прочесть ноту графа Перпонхера?

– Дайте! – сказал король и, взявши с живостью депешу, внимательно прочел ее.

– Тем временем, – заговорил Бисмарк, когда король окончил чтение, – граф Биландт просит от имени короля нашего посредничества в переговорах с Францией.

– Удивительно! – вскричал король. – Но вы ведь наверняка ответили, что ни теперь и никогда не может быть и речи об уступке немецкой земли, ведь Люксембург – немецкая страна!

– И я так считаю, ваше величество, – сказал граф спокойно, – эта мысль служит мне руководством. Но ответить я пока не могу.

Король вопросительно посмотрел на него.

– Я не желаю, – пояснил Бисмарк, – до поры вызывать столкновение, да и Франция при настоящих обстоятельствах едва ли захочет довести дело до войны. Но если это неизбежно, то мы должны в глазах всего света и всех кабинетов придать императору Наполеону роль зачинщика, нарушающего европейский мир. Кроме того, по моему убеждению, существенное условие для будущности Германии состоит в том, чтобы война с Францией, которая должна наступить и непременно наступит рано или поздно, стала настоящей национальной войной – только такая даст нам победу и гарантию того, что военный успех и пролитая кровь действительно объединят Германию. Поэтому я желаю считать это дело не кабинетным, а национальным вопросом и позволил себе набросать черновой ответ Перпонхеру.

Он подал королю исписанный Кейделем лист бумаги.

Король Вильгельм медленно и внимательно прочел текст.

– Понимаю, – сказал он и кивнул головой. – Понимаю: вы сразу развернули дело в противоположную сторону, так, так. Я вижу, что вы учились в парижской школе и умеете обращаться с тамошней темной политикой.

Он задумался на несколько минут.

– Какие запутанные нити закидывает этот таинственный человек! – произнес он наконец с грустью. – Не могу отрицать, что я нашел в нем что-то привлекательное, симпатичное. Я часто удивлялся тонкости и остроте его ума, а именно во время переговоров в Бадене, и хотел бы находиться с ним в хороших отношениях, но ему никогда нельзя верить!

– Потому что он никогда не перестанет быть заговорщиком! – сказал министр. – Это выше его сил. Да и все нынешнее дело опять сострепано как заговор, и я только удивляюсь, что оно могло зайти так далеко, а мы не получили о том никаких сведений из Парижа.

Король молчал.

– Впрочем, – продолжал граф, – если я осмелился высказать мнение, что при правильной разработке этот вопрос не примет воинственного характера, то нельзя отрицать, что из него разовьются серьезные затруднения. Итак, как ваше величество решило ни в каком случае не допускать присоединения Люксембурга к Франции...

– Ни в каком случае! – воскликнул король.

– Поэтому я всеподданнейше прошу ваше величество действовать по правилу: *si vis pacem, para bellum*²³ и приготовить все, чтобы события не захватили нас врасплох.

Король опустил голову и некоторое время размышлял. Потом быстро подошел к дверям в приемную, отворил их и крикнул:

– Генерал фон Мольтке!

Вошел знаменитый начальник генерального штаба, обративший на себя со времени похода 1866 года глаза всей Европы. На нем был мундир генерала от инфантерии, под мышкой он держал каску.

Устремив на короля умный взгляд, генерал молча ждал, пока монарх заговорит с ним.

²³ Если хочешь мира – готовься к войне (лат.).

– Дорогой генерал, – сказал король, – вы можете дать нам хороший совет по весьма важному вопросу. Граф Бисмарк сообщил мне сейчас, что между Францией и Голландией ведутся переговоры об уступке Люксембурга.

Тонкие губы генерала сжались еще крепче, в глазах блеснула молния.

– Хотя, – продолжал король, – я вместе с графом надеюсь, что дело окончится мирно, однако мы должны быть готовы ко всему, ведь Люксембург, разумеется, никогда не будет принадлежать Франции. Скажите, какие следует принять меры, чтобы события не застали нас врасплох. Конечно, приготовления не должны быть слишком очевидны.

Спокойное, серьезное лицо генерала оживилось.

– Снабдить провиантом Келин, Кобленц и Майнц и приготовить все к немедленному вооружению этих мест, – невозмутимо заявил он. – Кроме того, назначить надежного командира в Люксембург, который немедленно отправился бы туда, как только дело примет серьезный оборот.

Вильгельм одобрительно кивнул головой.

– Кого бы вы предложили? – спросил он.

– Генерал-лейтенанта фон Гебена, – отвечал Мольтке, не колеблясь ни минуты.

– Гебен... Гебен... Да, именно такой человек, какой нужен. В нем есть что-то от вас, дорогой Мольтке, – сказал король.

– Он рассудителен, как муж, и отважен, как юноша, – отвечал генерал спокойно. – Конечно, надо полностью приготовить мобилизацию и назначить дислокацию таким образом, чтобы в случае войны мы немедленно вступили бы во Францию.

– Мольтке знает свое дело! – сказал моранх, дружески глядя на серьезное лицо генерала.

– Это не чрезмерная самоуверенность и не дерзость, ваше величество, – отвечал Мольтке твердо. – Французская армия преобразовывается, а это самое худшее время для того, чтобы поставить ее на военную ногу. Кроме того, как я думаю, там не вполне способны понять тактику современного ведения войны, и потому я уверен в своем успехе. Если должна произойти война, то пусть лучше она начнется сегодня, а не завтра, ибо чем позже это случится, тем больше времени будет иметь маршал Ниэль – единственный французский полководец-организатор, чтобы осуществить свои мысли и планы.

– Во Франции, – сказал король задумчиво, – не щадят трудов для того, чтобы реформировать армию и воспользоваться нашим опытом.

– Пусть делают, что хотят, ваше величество! – пылко воскликнул Бисмарк. – Но одного не могут заимствовать у нас: прусского младшего лейтенанта!

– Граф Бисмарк совершенно прав, – сказал Мольтке с тонкой улыбкой. – Чтобы создать подобных офицеров, необходимы столетия и целый ряд государей, каких имели мы.

– И, – прервал король с улыбкой, – целый ряд генералов, какими располагал мой дом: Винтерфельдт, Шарнгорст, Мольтке...

– И еще прибавьте, ваше величество, – сказал Бисмарк, – материал пресловутого прусского юнкерства...

– Которое умеет повиноваться и никогда не забывает о верности! – сказал Вильгельм, кивая головой.

– Я чрезвычайно рад, ваше величество, – заговорил граф первый министр после небольшой паузы, – что генерал фон Мольтке так ясно и верно видит шансы войны, ибо чем меньше станем бояться столкновения, тем вернее избежим его. – Однако прошу у вашего величества позволения воспользоваться случаем для немедленного и предварительного обсуждения еще одного вопроса. Вашему величеству известно, что уже с прошлого года Голландия стремится устранить право Германии держать гарнизон в Люксембурге. Высказывают опасения, коих, в сущности, не имеют, но которые служат теперь предлогом к настоящим действиям и которые, быть может, оказывают свое влияние на европейские правительства, тем более что при

распаде германского союза изменилось и стало спорным положение Люксембургской крепости. Да и Франция никогда не упустит случая представить в виде угрозы занятие Люксембурга нашими войсками. Так как в начале дела я считаю справедливым и необходимым уяснить себе, какие уступки хотят и могут сделать стороны во время переговоров и так как в настоящем случае весьма важно отвести от себя даже тень подозрения в угрозе европейскому спокойствию, которую Франция охотно припишет нам, то я предлагаю вопрос: необходима ли Люксембургская крепость для оборонительной системы Германии? Если не нужна, то нам будет еще легче привлечь на свою сторону кабинеты и изолировать Францию.

Король вопросительно посмотрел на генерала.

– Люксембургская крепость, – отвечал последний спокойно и твердо, – никогда не должна находиться в руках французов. Она может послужить нам серьезным препятствием. Нам самим она не нужна и в случае надобности ее можно заменить укрепленным лагерем при Трире. Впрочем, и этого не нужно, довольно имеющихся крепостей.

– Так что нет никакой опасности от полного устранения Люксембургской крепости? – спросил граф Бисмарк.

– Никакой! – отвечал генерал.

– Однако нужно подробно обсудить этот вопрос, – сказал король нерешительно и задумчиво.

– Без сомнения, ваше величество и подумает, – сказал Бисмарк, – чтобы я сам предложил уступки – нужно только уяснить себе, возможны ли вообще уступки для улучшения нашего политического положения. И мы не должны оставлять этого без внимания хотя бы по причине южной Германии.

– Неужели южные германцы могут предполагать в этом *casus foederis*²⁴? – воскликнул Вильгельм.

– При вопросе о занятии крепости, – отвечал Бисмарк, пожав плечами, – я бы, конечно, не мог сказать «нет». Но если речь пойдет об уступке германской области – это нечто другое. Это дело немецкой чести, и стоит позаботиться о том, чтобы его так поняла и признала нация!

– Принимайтесь же за работу, дорогой граф, – сказал король. – Я одобряю вашу точку зрения, но удерживаю за собой право решения в дальнейших фазах, а именно в отношении уступок. Вас, генерал фон Мольтке, прошу проработать касающиеся этого дела военные вопросы и завтра доложить их мне подробно в присутствии кронпринца. – Пришлите также Гебена! – прибавил он.

– Будет исполнено, ваше величество! – отвечал генерал.

Король дружески поклонился им, и генерал с графом ушли.

²⁴ Казус федерис – исполнение союзнических обязательств государства о начале военных действий при наступлении условий, соответствующих договору о военном союзе.

Глава седьмая

Приемные салоны в доме министерства иностранных дел в Берлине ярко освещены: у канцлера северогерманского союза вечер, на который съезжаются члены рейхстага, дипломаты и прочие сливки столичного общества, состоящие в гражданской и военной службе, в финансовом мире, в мире искусства и науки.

Многочисленное общество сновало по скромно убранным комнатам. Высокие чины оживляли своими блестящими мундирами однообразие черных фраков мирных граждан; дипломаты с пестрыми лентами и блестящими звездами частью стояли группами и шепотом вели между собой разговоры, частью прогуливались, вступая в беседу со знакомыми депутатами и извлекая из разговора сведения о внутреннем положении, по которым иностранные дворы, в силу своей прозорливости, составляли более или менее верную картину политической жизни в Берлине.

Несмотря на многочисленное общество в залах, к парадным дверям дома подъезжали новые экипажи и подходили новые пешеходы, ибо никто из приглашенных не хотел пропустить этих вечеринок-суаре, на которых можно было без всякого стеснения и официальности общаться с политическими и парламентскими звездами и, быть может, заглянуть в тайны великой политической машины, приводившей в движение мир.

В первом салоне стоял Бисмарк, приветствуя вновь прибывших. Он то обменивался несколькими словами с членами дипломатического корпуса, то радушно пожимал руку депутату рейхстага; на нем был кирасирский мундир, беспечная веселость выражалась в его чертах.

Он только что раскланялся с небольшим, невзрачным на вид господином с умным, резко очерченным лицом, в живых черных глазах которого светился тот еврейский ум, который замечается в потомках избранного народа, когда они рассуждают о вопросах искусства и политики.

– Очень рад видеть вас, доктор Ласкер, – сказал граф с безупречной вежливостью. – Вероятно, мы найдем еще случай обменяться несколькими словами. Я хотел бы переманить вас у оппозиции, – прибавил он, грозя пальцем.

– Это будет не совсем легко, ваше сиятельство! – отвечал с поклоном доктор Ласкер.

Показавшиеся в дверях гости расступились, и в салон вошел, раскланиваясь направо и налево, генерал-фельдмаршал граф Врангель. Веселостью дышало волевое, морщинистое лицо старика с закрученными вверх усами. Бодро шагал этот ветеран прусской армии, одетый в мундир своего восточнопрусского кирасирского полка, с орденом *Pour le Mérite*²⁵ на шее, звездами Черного орла и Андрея Первозванного на шее, и с орденом Железного креста I степени.

Бисмарк быстро пошел ему навстречу и, вытянувшись во фрунт, сказал тоном рапортующего офицера:

– Генерал-майор граф Бисмарк-Шенгаузен из Седьмого Магдебургского кирасирского полка, откомандированный к должности союзного канцлера и министра иностранных дел!

– Благодарю, благодарю, дорогой генерал! – сказал фельдмаршал, пожимая руку первому министру и с удовольствием посматривая на его воинственное, резкое лицо. – Очень, очень рад иметь вас под своим начальством и еще более радуюсь, – прибавил он с дружеской улыбкой, – что при иностранных делах его величество имеет кирасира – палаш дает руке твердость, и что он сделает хорошего, того испортить вы не позволите перьям, как поступили в былое время писаки с Блюхером.

Граф усмехнулся.

²⁵ За заслуги (*фр.*) – высшая награда Пруссии.

– Ваше сиятельство может за меня не опасаться, – сказал он, гордо выпрямляясь. – Девиз прусского кирасира: вперед!

Приветливо помахав рукой, фельдмаршал двинулся дальше.

Между тем доктор Ласкер прошел во второй зал и приблизился к группе, в которой велся оживленный и серьезный разговор.

Здесь стоял тайный советник Вагенер, известный основатель и редактор газеты «Кройц-цайтунг», чиновничьего вида человек, с непрезентабельной фигурой которого вступало в контраст выбритое, бледное, чрезвычайно выразительное лицо. Вагенер разговаривал с депутатом Микелем, бургомистром Оснабрюкка и прежним главой ганноверской оппозиции: худощавым мужчиной, среднего роста, с высоким умным лбом. При всей своей резкой риторике Микель умел всегда сохранять в своих политических прениях изящные формы хорошего общества.

– Удивляюсь, – сказал Микель, – что вы, господин тайный советник, так восстаете против ответственности министров. В разумном консервативном интересе Пруссии, а также и в отношении южной Германии эта ответственность, безусловно, необходима. Вверите ли вы интересы своей партии министерству, которым управляет безответственный союзный советник? Министры могут меняться, и консервативная партия так же мало, как либеральное направление, способно обрести гарантии в министерстве, ответственность которого не определена в точности законом.

– Я потому восстаю против всякой ответственности министров, – отвечал тайный советник Вагенер, – что она разрушает, в принципе, основания монархического государства, а на практике не имеет никакого значения. Против сильной центральной власти, а, я надеюсь, центральная власть северогерманского союза будет с каждым днем крепче и сильнее, ответственное министерство бессильно. Против же слабой центральной власти, – прибавил он с саркастической усмешкой, – имеете вы совершенно другие и более действительные меры. Конституция есть компромисс между существующими политическими элементами и факторами, – конституционный шаблон не поможет нам здесь: все эти поправки, представленные различными сторонами при совещании, служат средствами не улучшения, но препятствия прогрессу.

– Тайный советник совершенно прав! – сказал депутат Зибель, молодой, сильный мужчина с белокурыми волосами и румяным лицом. – Истинная ответственность министра состоит не в уголовном преследовании, а в повторяющихся ежегодно прениях, в общественном мнении, той великой шестой державе, перед которой надобно преклоняться, хотя бы бездействовали все прочие великие державы. – Видите ли, немедленно после войны правительство поспешило примириться с общественным мнением. В этом заключается для меня истинная гарантия! А далее, право бюджета – здесь будущий рейхстаг имеет, согласно конституции, гораздо больше власти, чем имела ее когда либо прусская палата депутатов.

Микель покачал головой.

– Я не могу, – сказал с живостью Вагенер, – принять мотивы фон Зибеля, хотя придерживаюсь сходного с ним мнения. Мы живем в такое время, когда фраза имеет могучую и очень опасную власть, – и самая опасная из них, по-моему, есть фраза об общественном мнении. Что такое общественное мнение? – воскликнул он, обводя взглядом группу собеседников. – Откуда она и куда идет? Не есть ли общественное мнение, управляющее рейхстагом, дочь парламента, или, правильнее сказать, дочь полка?

Фон Зибель улыбнулся.

– Вы восстаете против фразы, – сказал Микель спокойно, – а сами сейчас сказали фразу, пусть и прекрасную.

– Это доказывает всю ее силу, так что даже противник не может избежать ее влияния, – возразил Вагенер с улыбкой. – Тем сильнее надо бороться против этого опасного владыки!

– Так как тайный советник ввел нас в область фраз, – сказал депутат Браун, подошедши к группе, – то на его дочь полка я должен отвечать ему цитатой из одного французского писателя: штыки для многих – прекрасная вещь, но не следует лезть на них.

Все засмеялись

– Да, – продолжал Браун с большим оживлением. – Загляните в историю: не война порождает общественное мнение, а последнее войну – всякая война есть только результат предшествовавшего народного развития, ее результатом будет только *quod erat demonstrandum*²⁶ истории.

– Господа, господа! – вмешался маленький доктор Ласкер. – Вы ведете такие оживленные прения, как будто здесь собрался рейхстаг! Оставим депутатов за дверью, они и без того довольно шумят на трибуне. – Знаете ли, – продолжал он, – приехал саксонский кронпринц принять начальство над Двенадцатым армейским корпусом – это очень приятно, большой шаг к военному единству!

– Если бы только вместе с военным единством пришла гражданская свобода! – сказал депутат Браун. – Но...

– Тише, тише! – вскричал Ласкер. – Все придет в свое время, не станем омрачать одного результата, не получив еще другого – нельзя одним скачком подняться на лестницу.

В первом салоне произошло заметное движение. Граф Бисмарк быстро подошел к двери и с почтительным поклоном встретил прусского принца Георга, высокого стройного мужчину лет сорока, с белокурыми густыми бакенами, с лицом бледным и болезненным, но выражающим большой ум. Принц был в прусском генеральском мундире. Он долго разговаривал с первым министром, затем, отклонив намерение последнего сопровождать его, направился во второй салон. Он обвел глазами все собравшееся там общество, подошел к господину в черном фраке со множеством орденов, который стоял один посреди зала. Заметив приближение принца, тот пошел к нему на встречу и глубоко поклонился.

Принц подал ему руку.

– Добрый вечер, фон Путлиц, – сказал принц, – я почти не ожидал видеть вас здесь – что делать поэту на паркетe политики?

– Если поэт отрывается от почвы жизни, ваше королевское величество, – отвечал Густав Путлиц тоном завязатого светского человека, – то обрезает корни, питающие цветы его фантазии. – Впрочем, – прибавил он с улыбкой, – я мог бы предложить этот самый вопрос вашему королевскому высочеству.

Принц Георг невесело усмехнулся.

– Если в часы досуга принц напишет несколько стихов, то его еще нельзя назвать поэтом!

– Оставим же принца, – сказал Путлиц с поклоном, – и поговорим о господине Конраде! Я читал его трагедию «Электра», которую он милостиво прислал мне, и могу уверить ваше высочество, что нашел в этой трагедии дух и язык истинного поэта.

– В самом деле? – воскликнул принц, в глазах которого вспыхнул радостный огонек.

– Так точно, – продолжал Путлиц, – и я желал бы просить у автора позволения приготовить эту пьесу для постановки на сцене.

– Вы действительно думаете, – спросил принц Георг, бледное лицо которого покрылось ярким румянцем, – что возможно сыграть «Электру»?

– Я убежден в этом и советую попробовать. Господин Конрад, – продолжал он, – восстановил во всей чистоте образ Электры, которая у Еврипида утратила истинное женское достоинство, и сделал этот образ положительным, а стихи – я должен сознаться в этом – иногда напоминают мне язык Гете.

Улыбка счастья заиграла на устах принца.

²⁶ Что и требовалось доказать (*лат.*).

– Вы доставляете мне большое удовольствие, фон Путлиц, – сказал он. – Могу я вас просить приехать завтра ко мне? Мы еще поговорим об этой трагедии. О, – продолжал он со вздохом, – какое счастье иметь такую деятельность, при которой встречаешь иногда человеческое сердце – она дает цель жизни, для которой слабость и болезненность закрыли поприще тяжелой работы в трудах и борьбе света.

Фон Путлиц с глубоким участием смотрел на благородное, опечалившееся лицо принца.

– Эта цель, – сказал он, – конечно, так же велика и благородна, как и всякая другая, и, быть может, еще более приличествует для такого великого, горячего сердца, какое говорит в стихотворениях Конрада. Поэт поклонился.

– Что вы скажете о смерти Корнелиуса? – спросил принц после небольшой паузы.

– Жестокий удар для мира искусств, – отвечал фон Путлиц печально. – Старый баварский король Людвиг написал из Рима письмо к жене Корнелиуса и, говоря о солнечном затмении, сказал: солнце затмилось, когда угас тот, кто был солнцем искусства. Первое опять будет сиять, но едва ли когда-нибудь явится новый Корнелиус.

– Правда, правда! – сказал принц и с печальным выражением прибавил: – Как прекрасна должна быть его смерть после жизни, полной столь дивных созданий! Итак, до завтра! – обратился он напоследок к фон Путлицу и, дружески кивнув ему, повернулся к близ стоявшему французскому послу Бенедетти.

Войдя в салон, граф Бисмарк побеседовал несколько минут с членами дипломатического корпуса.

Потом подошел к довольно высокому мужчине с красноватым лицом, голым до половины черепом, по которому проходил широкий шрам, и с темной бородой. Его можно было принять за простого сельского дворянина, если бы живые, ничего не упускающие глаза не свидетельствовали о сильной умственной деятельности.

– Добрый вечер, фон Беннигсен! – сказал первый министр чрезвычайно учтивым тоном, но без всякого оттенка сердечной теплоты. – Очень рад видеть вас у себя – я почти боялся, что вы станете держаться вдали отсюда.

– Как могли вы так подумать, ваше сиятельство! – отвечал фон Беннигсен с поклоном. – Я уже много лет доказывал свою готовность посвятить все силы тому делу, которое вы ведете с таким успехом.

– Конечно! – согласился Бисмарк. – Однако я желал бы рассчитывать на вашу поддержку в созидании этого успеха, но вместо того вижу, к своему величайшему удивлению, что при совещаниях о Конституции вы и ганноверские депутаты, принадлежащие к вашей партии, двигаете мне почти столько же препятствий, сколько партикуляристы и приверженцы Гвельфов. Таким образом, мы недвигаемся к цели, которую вы также признаете своей.

– В вопросах о государственных принципах я не могу изменить своим убеждениям, – отвечал фон Беннигсен. – Что же касается дела объединения на практике, то ваше сиятельство всегда может быть уверено в моем ревностном содействии как в Германии, так и в моем родном Ганновере.

– Ганновер очень требователен! – заметил граф задумчиво. – Я надеялся, что прусское управление встретит там более ласковый прием. Кажется, сама ваша партия ошибается относительно настроения страны – агитация короля Георга находит себе плодотворную почву.

– Король Георг является для ганноверцев воплощением автономии, самостоятельности или независимого самоуправления страны, – сказал фон Беннигсен. – Агенты короля искусно пользуются этим врожденным у всех ганноверцев чувством суверенности, между тем как высшие органы нового управления часто оскорбляют это чувство без всякой необходимости. Диктатура стесняет население и представляет ему прошедшее в чудесном свете. Лучшее средство – как можно скорее организовать управление на автономическом основании; для этого следует призвать людей, пользующихся доверием страны.

– Людей, пользующихся доверием страны! – повторил граф Бисмарк. – Кто же эти люди? Фон Беннигсен посмотрел на него с удивлением.

– Как это узнать? Должна ли выбрать их страна? Но это вызовет опасное брожение и, быть может, поведет к более опасным результатам. – Созову ли их я? В таком случае будут ли они иметь доверие страны? Вопрос труден, – продолжал граф. – Я уже подумывал об уполномоченных, подумаю еще и, вероятно, мы вскоре обсудим.

Фон Беннигсен поклонился.

Граф Бисмарк отошел и встретил Виндтхорста, главного королевского прокурора апелляционного суда в Целле, прежде бывшего ганноверским министром.

Едва ли две какие-либо другие личности представляли более резкий контраст, чем граф Бисмарк и Виндтхорст.

Маленький, сгорбленный бывший ганноверский министр юстиции, теперь уполномоченный королем Георгом вести переговоры о выделе имущества, казался почти карликом перед высокой, могучей фигурой союзного канцлера. Сколько искренности, сознательной и гордой силы выражалось в крупных чертах графа Бисмарка, столько скрытой хитрости и лукавства было в выразительных чертах своеобразного некрасивого лица Виндтхорста. На широких, но подвижных и выразительных устах часто играла саркастическая улыбка; большие круглые очки, казалось, скорее имели целью скрывать глаза, чем помогать слабому зрению, потому что взор маленьких серых глаз во время разговора устремлялся поверх очков на собеседника. Широкий, круглый, очень выпуклый череп был покрыт жиденькими короткими седыми волосами; поразительно маленькие женственные руки, выглядывавшие из-под широких рукавов старомодного фрака, сопровождали речь Виндтхорста резкими жестами; подбородок часто прятался в широкий белый галстук, а пристальный взгляд неотрывно фиксировал реакцию на каждое сказанное слово.

На груди у него была звезда австрийского ордена Железной короны; на шее висел, на длинной синей ленте, командорский крест ганноверского ордена Гвельфов.

– Как идут переговоры об имении короля Георга? – спросил Бисмарк, вежливо раскланиваясь с Виндтхорстом. – Довольны ли вы?

– Ваше сиятельство, – отвечал уполномоченный с резким гортанным говором вестфальца из Оснабрюке, – они идут очень медленно. – Ваши комиссары несколько упрямы...

– Вот как? – воскликнул граф. – Это противоречит их инструкции. Я не вполне верю. Но нет ли затруднений с вашей стороны? Вы настаиваете на выдаче доменов.

– Не я, ваше сиятельство, – возразил Виндтхорст, глянув на первого министра поверх очков – такова инструкция из Гитцинга. Мы же только исполнители.

– Но почему оттуда присылают неполные или двусмысленные инструкции? – спросил граф. – При том образе действий, который раз усвоил себе король, было бы лучше следовать ясному принципу и содействовать переговорам. На что нужны королю домены в прусской области? С другой стороны: можем ли мы дать королю большое недвижимое имение в той стране, в которой он не признает первенства прусского государя?

Виндтхорст пожал плечами.

– Ваше сиятельство должно припомнить, – заметил он с легкой улыбкой, – что инструкции дает нам граф Платен. Существуют различные желания: кронпринц хотел бы удержать охотничьи округа, королева не намерена уступить Мариенбурга...

– Мариенбург – частная собственность ее величества, – сказал министр серьезно, – и не обсуждается. Точно также следует предоставить королю Герренгаузен, это историческое воспоминание гвельфского дома, но прочие домены должны остаться у Пруссии!

– Мне очень приятно получить от вашего сиятельства конкретные объяснения – это значительно упростит наше положение. До сих пор мы не имели никаких ясных указаний, потому что граф Платен, – тут коротышка стал разглаживать тонкими пальцами орденскую ленту, –

это такой человек, что, заперев его в комнате с двумя стульями и возвратившись через час, вы можете быть уверены, что найдете его на полу между обоими стульями.

Граф Бисмарк рассмеялся.

– Впрочем, – сказал он, посерьезнев, – я должен сообщить вам, что постоянная агитация в Ганновере, нити которой отчетливо сходятся в Гитцинге, не может поддерживать нашей готовности в переговорах об имении.

– Меня огорчает эта совершенно бесполезная агитация, – отвечал Виндтхорст, – однако же я не думаю, чтобы она могла вести к чему-нибудь серьезному, если только, – прибавил он, бросая взгляд через очки, – ошибки прусского управления не послужат ему новой пищей!

– Боже мой! – вскричал Бисмарк. – Не могу же я присматривать за всеми низшими органами! Что же сделать для избежания этих ошибок? Мне говорили о созыве уполномоченных страны, чтобы вместе с ними обсудить организацию провинции.

– Гм- гм, я ничего не имею против этого, – отозвался Виндтхорст, – быть может, оно и будет лучше, но, по моему мнению, самое лучшее – привлечь в прусское управление все серьезные силы Ганновера – это внушит провинции доверие и сознание того, что она участвует в совещаниях государства.

С минуту министр смотрел пронизательно и пристально на Виндтхорста, на губах его мелькнула своеобразная улыбка.

– Отличная мысль! – сказал он наконец, сделав вид, что поражен. – Но с какой целью? Для внутреннего управления? Это было бы затруднительно... Но, – продолжал он, будто под влиянием новой мысли, – ганноверское законодательство и юстиция были всегда образцовыми; для юстиции это послужило бы... – И граф замолчал, вроде как задумавшись.

Виндтхорст опустил глаза, невольная улыбка озарила его лицо.

– Конечно, ганноверская юстиция имела превосходные силы, – сказал он скромно.

– Могу ли я забыть об этом в вашем присутствии? – не преминул заметить граф Бисмарк. Виндтхорст поклонился.

– Ваши особо близкие друзья, ганноверские католики, также не расположены к нам, – сказал министр.

– Не вижу причины тому, – отвечал Виндтхорст, – но, во всяком случае, с ними нужно действовать осторожно и искусно. Если я своим опытом и влиянием могу содействовать умиротворению и упрочению спокойствия, то вы всегда можете на меня рассчитывать.

– Благодарю вас, – сказал граф, – надеюсь, мы еще найдем случай подробно переговорить об этом ганноверском вопросе; пока же постарайтесь, насколько можете, чтобы в Гитцинге признали по крайней мере практичность новых условий – здесь же вы найдете крайнюю снисходительность в вопросе об имении.

И, дружески поклонившись, он отошел от Виндтхорста. Затем отыскал глазами доктора Ласкера, который стоял от него в нескольких шагах, ведя разговор с тайным советником Вагенером. Первый министр подошел, Вагенер сделал несколько шагов назад.

– Итак, мой дорогой доктор, – сказал граф Бисмарк, улыбаясь, – мне нужно серьезно поговорить с вами. Довольны ли вы происшедшим в Германии?

– Конечно, ваше сиятельство, – отвечал Ласкер с поклоном и поднимая на графа пронизательные, умные глаза. Конечно, я доволен, счастлив тем великим шагом, который так твердо и энергично сделала Германия к своему объединению, и всегда буду держать вашу сторону в иностранной политике. Но во внутренних вопросах...

– Я не совсем хорошо понимаю различие, которое вы делаете, – сказал Бисмарк серьезно. – Могу уверить вас, что задачей честного правительства я всегда считал стремление к возможной свободе личности и народа, насколько это сочетается с государственным благополучием.

– Я ни одной минуты не сомневался в этом честном и справедливом убеждении и воззрении вашего сиятельства, – сказал Ласкер, – однако нам будет трудно найти согласие относительно меры свободы, сообразной с государственным благосостоянием, и относительно средств и способов утвердить и охранить ее.

– Быть может, моя мера больше вашей, – сказал граф с задумчивым видом, – а способы?.. Неужели вы всерьез полагаете, – продолжал он с живостью, – что свобода будет утверждена, когда правительство станет платить жалованье народным депутатам; разве Англия не свободная страна, хотя не платит жалованья депутатам? Или когда господа парламентарии оппозируют воинской повинности и утверждению военного бюджета? Чем были бы мы без сильной армии? До войны я еще готов был смириться с этим, но теперь вы наслаждаетесь плодами победы и не хотите усилить орудие, имевшее целью завоевать эти плоды и, быть может, защитить их?

Ласкер серьезно посмотрел на графа.

– Позвольте мне говорить откровенно! – сказал он. – Я не принадлежу к поклонникам туманных теорий, измеряющих свободу по шаблону той или другой доктрины – выше теорий стоят для меня личности. Но, – прибавил он с лукавым взглядом, – стоя пред вашим сиятельством, не могу не вспомнить басни о центавре: хотелось бы пожать протянутую руку, но боишься удара подкованным копытом.

Бисмарк рассмеялся.

– Но если бы у этого центавра не было таких копыт, то как двигался бы он по неровной почве, на которой встречает кроме естественных еще искусственные препятствия?

– Но вы должны согласиться, – сказал Ласкер, – что я и мои политические друзья, либералы, находимся в жестоком затруднении. Несмотря на желание помогать вам, мы пугаемся окружающих вас. Вы совершили великое дело; вы – и никто более нас не сознает этого, – положили истинной свободе путь в Германию, но здесь, в Пруссии, все остается по старому. Тут граф Линце, там Мюлер – тот самый Мюлер, – продолжал он. – Можете ли вы ожидать от нас доверия к внутреннему управлению? Мы должны быть в оппозиции с такими людьми и сами заботиться о себе. И кроме этих министров, извините за откровенность, можем ли мы питать доверие, видя около вас людей, подобных Вагенеру? Лично я Вагенера люблю и недавно еще беседовал с ним, но он был всегда представителем крайней реакции...

Ласкер смолк.

– Неужели вы думаете, – сказал граф Бисмарк веселым тоном, – что я хожу на помочах у моих референтов и что, – прибавил он с улыбкой, – копыто центавра в почтительном страхе склоняется перед мозолем бюрократии? Вагенер! Знаете ли, дорогой доктор, когда вы работаете, обдумываете свои остроумные речи, которым я часто восхищаюсь, вы едва ли часто заглядываете в свой словарь. Видите ли, у меня еще меньше времени, чтобы справляться с книгой – мне нужен живой словарь.

Ласкер расхохотался.

– Теперь, – продолжал министр, – вы согласитесь, что в этом отношении Вагенер незаменим; он обладает способностью репродуцировать, ассимилировать чужие мысли, а это именно мне и нужно. Выводы же мои – мои собственные, – прибавил он, гордо подняв голову, – и я требую для себя такой же свободы, какую предоставляю всем!

– Дайте же вашему искреннему почитателю свободу оппозиции, так как иностранная политика, в которой вы всегда можете рассчитывать на меня, нечего не делает.

– Ничего не делает? – спросил граф с удивлением. – Иностранная политика ничего не делает? Мне кажется, она напряженно работает!

Изумленный Ласкер воззрился на графа Бисмарка.

Тот молчал.

– Дорогой доктор, – сказал граф наконец, – кажется, иностранная политика достигла такого пункта, который сильно заботит меня.

– Не знаю, – отозвался Ласкер, – не будет ли нескромностью с моей стороны спросить ваше сиятельство, что именно причиняет вам заботу среди видимого глубокого спокойствия?

– Почему же нет? Видите ли, голландский король хочет продать Люксембург императору Наполеону.

Ласкер едва не подпрыгнул.

– И вы потерпите это? – вскричал он, сверкнув взглядом. – Люксембург – немецкая область! Уступить Франции немецкую страну?!

– Я в странном положении, – сказал граф Бисмарк, пожимая плечами и пристально смотря на взволнованное лицо депутата, – Германский Союз, как вам известно, прекратил существование, вследствие чего вопрос несколько запутался, с точки зрения государственного права...

– Тут не государственное право! – возразил Ласкер, дрожа от негодования. – Это вопрос национального права, национальной чести Германии.

– Чтобы он стал таковым, – заметил граф Бисмарк, – должна высказаться нация.

– И если она выскажется, – продолжал Ласкер, – то ваше сиятельство...

– Если выскажется нация, – подхватил министр твердым голосом, – я буду исполнителем ее вердикта, и горе тому, кто воспротивится воле Германии!

– Могу ли я воспользоваться содержанием нашей беседы? – спросил Ласкер.

– Почему же нет? – отвечал граф.

– Первого апреля – день вашего рождения, – сказал Ласкер, поднимая руку, – и в подарок вы получите единодушное выражение национальной воли.

– Я окажусь достойным такого подарка, – промолвил граф Бисмарк.

И, дружески простившись, направился к группе дипломатов, обмениваясь с каждым несколькими словами.

Доктор Ласкер пошел по салону, отводя в сторону то здесь, то там своего знакомого и с жаром обсуждая с ним новость.

Вскоре во всем салоне стало заметно чрезвычайное волнение.

Образовавшиеся группы вели оживленный разговор; ведущие члены партий были окружены своими товарищами; на всех лицах выражалось недоумение и беспокойство.

Вскоре волнение передалось дипломатам – они толпились около графа Биландта, который в нескольких словах подтвердил известие, обежавшее потом, как молния, весь салон. Представители крупнейших держав подошли к первому министру и он спокойно отвечал на их вопросы.

Из одной группы, образовавшейся около Ласкера, выступил фон Беннигсен и подошел к союзному канцлеру.

Зоркий взгляд графа Бисмарка следил за каждым оттенком возникшего в салоне волнения; заметив приближение Беннигсена, граф пошел ему навстречу.

– Прошу извинить, ваше сиятельство, – сказал депутат слегка дрожащим голосом, – что осмеливаюсь беспокоить вас. – Но разнесшийся здесь слух...

– О продаже Люксембурга? – заметил Бисмарк.

– Стало быть, эта позорная история имеет место быть? – спросил фон Беннигсен.

– Кажется, так, – отвечал граф спокойно, – я еще не вполне выяснил.

– Но нация... рейхстаг не может, не должен молчать! – вскричал фон Беннигсен. – Имеет ваше сиятельство что-нибудь против запроса в рейхстаге?

– Ничего! – возразил граф Бисмарк. – Чем больше света, тем лучше. Разумеется, на такой запрос я могу ответить только то, что знаю.

– Но рейхстаг должен ясно выразить свою точку зрения, свою волю! – заявил фон Беннигсен.

– И эта воля будет моим руководителем! – отвечал граф.

Фон Беннигсен поклонился, и вскоре предводители партий оставили салон.

– Кажется, дорогой генерал, – сказал граф Врангель, подходя к первому министру, – писаки принимаются за дело...

– Кирасир на своем посту, ваше сиятельство, – отвечал граф Бисмарк твердо, – и в случае нужды обнажит палаш.

Спокойно и молча, с равнодушным, улыбающимся лицом следил Бенедетти за волнением в салоне.

– Он ужасный противник! – прошептал посол и стремительно прошел к выходной двери. Залы пустели все более и более.

Граф Бисмарк подошел к фон Кейделю.

– Велите напечатать завтра во всех газетах заметку о люксембургском вопросе. Простую, только излагающую факты, без всяких рассуждений. Самую миролюбивую и нисколько не вызывающую.

Фон Кейдель поклонился.

– Обвал начался, – проговорил вполголоса первый министр. – Посмотрим, отважится ли лукавый цезарь противостоять несущейся лавине германской национальной воли?

Любезно простился он с последними своими гостями и медленным шагом направился к своим комнатам.

Глава восьмая

В красивом и обширном доме на Фридрихсвилль, той широкой аллее, которая идет от старого замка в Ганновере к красивому парку, так называемому Лугу Петель, жил оберамтманн фон Венденштейн, который, оставив с честью государственную службу, выехал из Блехова в Вендланде и поселился в Ганновере. Госпожа фон Венденштейн была еще молчаливее и печальнее прежнего, но грустное воспоминание о старом доме в Блехове не препятствовало ей приводить в порядок и украшать новое жилище в Ганновере.

Все дорогие ее сердцу особы находились при ней, ее сын был спасен и совершенно оправился от раны, около него должно было вскоре расцвести новое семейство. И пусть события мира развиваются как угодно, ее жизнь заключалась в доме, и с тихими надеждами и радостью готовила она все, чтобы свить любимому сыну теплое гнездышко.

Оберамтманн ходил молча и печально. Он принадлежал старому времени, которое уже давно распадалось и наконец рухнуло в громадной, потрясшей мир катастрофе. Старик любил своеобразную самостоятельность своей ганноверской страны, ему было прискорбно видеть новое владычество в области государей, которым служили его предки, но ясный, практический ум удерживал его от тех демонстративных проявлений недовольствия, от того пассивно агитаторского сопротивления, которое оказывали прусскому управлению часть народа и большинство сословия, к коему принадлежал оберамтманн. Он видел и понимал новое время, но не мог полюбить его и потому жил уединенно в тесном кружке своего семейства; сердце и гордость отдаляли его от нового общества, собравшегося вокруг прусского элемента, а ясный и спокойный рассудок не допускал сблизиться с так называемыми гвельфскими патриотами.

Лейтенант совершенно выздоровел. Его щеки опять зацвели здоровым румянцем, но продолжительная болезнь придала его взгляду выражение глубокой, задумчивой печали. Для него было тяжелее, чем для его отца, приспособиться к новым условиям; среди ежедневных сношений со своими товарищами и друзьями, офицерами бывшей ганноверской армии, он жил в сфере жгучей, со всем пылом юности усвоенной и идеализированной, скорби о минувшем, с которым всецело было связано его сердце всеми своими фибрами.

Король Георг объявил всем офицерам, что они могут, если желают того, получить немедленно отставку; люди зажиточные подали в отставку или по крайней мере не вступили в прусскую службу; большинство молодых людей, не имевших ни средств к независимой жизни, ни образования для каких-либо других занятий, приняли новые условия и покорились необходимости.

Среди борьбы, обусловленной неизбежностью принять это решение, борьбы, которая сильно волновала не только кружок молодых офицеров, но и их семейства, – капитан фон Адельэбзен созвал всех молодых офицеров, еще не поступивших в прусскую службу. На этом собрании капитан прочитал письмо короля из Гитцинга, выражавшее надежду, что все офицеры останутся преданы делу короля и в то же время обещавшее пятьсот талеров в год каждому из них. Офицеры должны были спокойно жить в стране и ожидать королевских приказаний, которые будут им сообщены через доверенных лиц.

Это послание короля заронило искру нового смятения и мучительного сомнения в душу бедных молодых людей, которым пришлось так жестоко пострадать под влиянием могучих событий. Многие вняли призыву короля и великодушно решились вести грустную, полную опасностей жизнь, на которую их обрекала присяга, данная королю Георгу; они решились вести жизнь заговорщиков, находясь под страхом наказания за государственную измену, подвергаясь всем опасностям, без чести и славы, приносимой солдату настоящей войной.

В глубоком смятении и в сильной внутренней борьбе возвратился лейтенант фон Венденштейн с собрания своих товарищей. Сердце влекло его на сторону тех, кто решился нести

опасную службу заговорщиков и агитаторов в пользу своего прежнего короля и вождя – он не боялся личной опасности, но содрогался при мысли о будущем, о родине. Мог ли он подвергать случайностям и опасностям такой жизни свою возлюбленную, которая соединяла свою судьбу с его участью, ожидала от него защиты и поддержки?

Долго бродил молодой человек, обуреваемый противоположными мыслями и чувствами, потом отправился с сыновней доверчивостью, со всем почтением юноши, к престарелому отцу и сообщил ему о послании короля, о своей душевной борьбе и спросил его совета.

Безмолвно и грустно расхаживал старый оберамтманн, потупив мудрый взор.

Потом остановился пред сыном, взглянул ему в лицо и сказал кротким, спокойным голосом:

– Благодарю тебя за доверие, с которым ты обратился ко мне. Тебе нужен совет, но я не могу его дать. Я учил своих сыновей быть мужами, и в столкновениях настоящего времени муж должен твердо и непоколебимо следовать собственному своему голосу. Но, – продолжал он, кротко опустив руку на плечо сына, – я обязан дать совет и высказать свое мнение сыну, юноше. Я выскажу тебе свои мысли, не принимая в расчет личных отношений, но повинуюсь единственно голосу чести и совести, не думая о том, как близко касается меня твое решение. Оставаясь верен своему прежнему знамени, – продолжал старик медленно и спокойно, – ты должен помнить, что это знамя стало теперь не знаменем чести, а восстания против власти, признанной всей Европой; что предстоящая тебе опасность есть не смерть на поле битвы, а тюрьма, смиренный дом, быть может, даже эшафот. Сон отлетит от тебя, твоими спутниками будут тревога и забота. Но я не стану говорить об этом, я знаю, что мой сын не страшится опасностей какого бы то ни было рода, встреченных им на пути, по которому предписывает ему идти его честь и данная клятва. Но есть еще другая, большая, опасность. Отдав себя в безусловное распоряжение короля, ты должен помнить, что несчастный государь не занимает теперь основанного на законах и государственном праве престола, с которого он может давать приказания, согласуясь с законами и правами страны. Обязывая себя самыми священными и высокими на земле узами, присягой офицера, ты признаешь его своим государем, но знаешь ли ты окружающих его лиц, знаешь ли тех, которые, не подлежа законной ответственности и не подвергаясь личной опасности, служат ему советниками? Знаешь ли ты, какие приказания можешь получать, можешь ли видеть конец пути, на котором делаешь первый шаг? Можешь ли знать, что не наступит мгновения, в которое твоя клятва, с одной стороны, а честь, совесть, германская кровь – с другой, не поставят тебя в жестокий разлад с самим собой? И притом, – подытожил оберамтманн, – разве ты один? Я знаю, Елена ни одним словом, ни одним взглядом не станет удерживать тебя от решения, которое ты сочтешь истинным, но ее сердце иссохнет от тоски и печали.

Лейтенант грустно смотрел вниз.

– Елена, бедная Елена! – промолвил он. – Но товарищи... король! – прибавил он шепотом.

Оберамтманн долго смотрел на него.

– Король, – сказал он потом, – мечтает о борьбе за свое право; мечтает о восстановлении своего трона, и твои товарищи, пожелавшие остаться в его распоряжении, разделяют эти мечты. Я не разделяю их! – прибавил он после краткого молчания. – Потому что ни в характере короля, ни в его образе действий я не вижу никакого ручательства за успех в такой громадной борьбе. Это будет нравственное повторение последнего похода: невероятное блуждание, жертвы героической преданности, не принятые вовремя меры и шаги, и наконец, печальное окончание в приготовленной собственными руками ловушке. И только печальная слава в конце. Видишь ли, мой сын, – продолжал старый фон Венденштейн, – предприятие государя, который с немногими преданными ему людьми вступает за свое право в борьбу с державой, перед которой дрожат большие европейские государства, имеет в себе много героического, пора-

жающего, так что я, старик, привыкший руководствоваться в своих чувствах осторожностью и опытом, мог бы поддаться увлечению. Но для этого я должен бы предвидеть возможность победы, честного мира или славной смерти. Такой возможности я не предвижу. Чтобы победить, или вполне или отчасти, восстановить честным миром потерянное право, король должен сделаться могучим и страшным, должен стать во главе всех идей, противодействующих прусскому господству в Германии, чтобы впоследствии, когда начнется движение, волны последнего вознесли его на вершину. Он должен создать условия, при которых мог бы образоваться зародыш армии, проникнутой единой великой идеей, чтобы потом, воспользовавшись каким-либо потрясением Европы, заявить свое право и утвердить его войной или договором. Но всего этого, как вижу, нет! Всюду та же слабая двусмысленная игра – протестуют против присоединения и желают сохранить домены под прусским владычеством. Хотят сражаться и смотрят спокойно, как погашаются отправленные в Лондон бумаги, для продажи которых имелось достаточно времени. Всюду слова вместо действия. Король хочет повелевать, но не владычествовать! Здесь я видел многое и многому научился, – продолжал старик, сделав несколько шагов, – чего не знал в тихой и замкнутой деятельности в Блехове; и вправду сказать, слухи о происходящем в Гитцинге внушают мне мало доверия. Генерал фон Кнезебек рассказал мне много грустного. Король поступил с ним невероятным образом. Точно так же был отослан и старый генерал фон Брандис, а лица, которые здесь являлись представителями гвельфского патриотизма, вызывая его дешевенькими демонстрациями в виде желто-белых галстуков и таких же флагов: неужели их можно счесть такими людьми, которые достигают успеха в великой умственной и политической борьбе? Одним словом, я ничего не предвижу в будущем, кроме бесславных опасностей, неудавшихся стремлений и жалкого конца. Таково мое мнение. Однако ты сам должен решиться, и, – прибавил Венденштейн, тепло посмотрев на сына, – какой бы путь ни был избран тобой, ты с честью пойдешь по нему, и мое благословение почиет над тобой.

Долго стоял молодой человек в глубоком размышлении.

– Я останусь здесь! – сказал он потом, протягивая руку отцу, который искренно пожал ее. – Я сообщу товарищам о своем решении, не желая устраняться тайно. Когда же настанет минута, в которую король задумает восстановить свое право с большей надеждой на успех, то я буду готов явиться на призыв. Теперь же возьму отставку.

И, с облегченным сердцем, он вздохнул; лицо его осветилось веселой улыбкой.

– Хорошо ли ты осмотрел Бергенхоф? – осведомился отец после паузы. – Мне понравились дом и надворные строения.

– Я все осмотрел в подробности, почва и ее обработка хороши, и цена, кажется, нечрезмерная, – отвечал молодой человек.

– Мы еще раз съездим туда на днях, – сказал оберамтманн, – и порешим дело. Мне хочется снова иметь настоящее, свое собственное гнездо. И потом, ты можешь привести свою молодую жену, – прибавил он с улыбкой и оперся на руку сына.

Оба отправились из комнаты оберамтманна в салон к дамам.

Комнаты госпожи фон Венденштейн в съемном доме в Ганновере были почти такие же, как в старом блеховском имении. Мебель была отчасти прежняя, везде царила та самая простая, милая уютность, которую создавала вокруг себя старая дама.

Елена приехала закупать себе приданое, и в мирном семейном кружке цвело, среди великой катастрофы, расшатавшей свет, тихое, довольное самим собой счастье, на которое только изредка набегали облачка грусти о современном положении дел.

Госпожа фон Венденштейн сидела в своем кресле и с ласковой улыбкой посматривала на молодых девушек, которые сличали с образчиками лежавшие пред ними ткани.

С сердечной теплотой смотрела госпожа Венденштейн на свою будущую невестку, задумчивые взоры которой, казалось, больше следили за внутренними картинами, чем рассматривали образчики. Молодая девушка стала прекраснее прежнего, ее нежные черты озарились

тихим светом чистого счастья, но это было не улыбающееся счастье веселой минуты, а мечтательное выражение сознательной душевной жизни, которое с чудным блеском сияло из глубины ее очей.

Вошли оберамтманн с сыном.

Щеки Елены вспыхнули румянцем. Лейтенант подвел отца к креслу близ своей матери и потом нежно поцеловал руку невесты, которая смотрела на него сияющим взором.

– Ну, – сказал оберамтманн с веселым смехом, – надеюсь, мы скоро окончим наши приготовления, поспешите же вы со своими – я покупаю имение Бергенхоф, недалеко от нашего прежнего жилища в Блехове, у нашего друга Бергера. Как только покончу дело, то соведем там гнездышко детям.

Елена, покраснев, опустила голову.

– Мы будем готовы, – сказала госпожа фон Венденштейн с некоторой гордостью. – Ты ведь знаешь, что я не привыкла заставлять своего пунктуального супруга ждать.

– Иногда она превосходит его и подтрунивает над ним, если он не готов вовремя, – заметил оберамтманн со смехом.

Старый слуга отворил дверь и доложил:

– Господин кандидат Берман.

Оберамтманн встал и протянул руку вошедшему кандидату, который с глубоким поклоном взял ее почтительно и потом поклонился дамам и лейтенанту.

Внешность молодого кандидата нисколько не изменилась. Его простой черный наряд был по-прежнему так же чист и гладок, как черты спокойного лица; опущенные взоры и почтенная скромность осанки сливались в одно выражение духовного спокойствия и сдержанности.

– Я затем приехал в Ганновер, – произнес он тихим, медоточивым голосом, – чтобы получить место адъютанта при дяде, чего нельзя было сделать в минувшем, полном тревог, году. Мне грустно, – продолжал он, – иметь дело с властями нового правительства, но мой дядя желает покончить с этим делом.

– А как поживает наш дорогой друг? – прервал его оберамтманн.

– Здоровье его превосходно, – отвечал кандидат, – но сердце тяжело скорбит; он, как повелевает христианский долг, повинуется начальству, имеющему власть над нами, но его сердце и любовь принадлежат изгнанному королю, и печальны его мысли о будущем страны.

Оберамтманн молча и угрюмо потупился.

– Дядя поручил мне передать его сердечный привет господину оберамтманну и его семейству, – сказал кандидат, – и передать это письмо Елене.

Он вынул из кармана письмо и подал своей кузине.

С самого прихода кузена молодая девушка не поднимала глаз, лицо ее слегка побледнело. Она быстро взяла поданное ей письмо, испуганно взглянула на кузена и опять потупилась под его острым взором.

Потом встала и углубилась в оконную нишу, чтобы прочитать письмо отца.

– Как живут остальные в Блехове? – спросил оберамтманн. – Что поделывают старый добряк Дейк и Фриц?

– Фриц Дейк с молодой женой из Лангензальца ведут хозяйство в доме, который предоставил им старый Дейк, удержавший за собою только почетную должность бургомистра, – отвечал кандидат. – В спокойном прежде и тихом дворе царствует теперь новая, кипучая жизнь. Молодая женщина благочестива, – продолжал он медоточивым голосом, – помогает всем бедным в деревне, и мой дядя радуется на нее; старый Дейк иногда отзывается резко о новых властителях, но один взгляд невестки заставляет его смолкнуть. Если бы везде так же мирно соединилось прежнее и новое время, как в доме старого Дейка, то спокойствие было бы вскоре восстановлено!

– Господь все устроит по своему произволению! – сказал оберамтманн, набожно складывая руки. – В подобное нынешнему время отдельный человек должен молча ждать, куда Провидение направит судьбы народов.

– Аминь! – произнес кандидат, склоняя голову.

– Господа фон Чиршниц и фон Гартвиг! – доложил старый слуга, и в салон вошли двое молодых людей, бывших прежде ганноверскими офицерами.

Фон Чиршниц, сын бывшего генерал-адъютанта короля Георга, был высокий красивый мужчина; черты его лица, обрамленного темной бородой, выражали ум и энергию; фон Гартвиг, старше товарища, имел черты мягкие и болезненные, голова его была совершенно лысая, а ясные, добрые глаза смотрели теперь грустно и тоскливо.

Молодые люди присели к столу, поклонившись оберамтманну и дамам и пожав искренно руку своему товарищу, молодому фон Венденштейну.

– Кандидат Берман из Блехова, – сказал оберамтманн, представляя гостя молодым людям.

Последние поклонились.

– Хороший ганноверец, – сказал фон Гартвиг откровенно, – как само собой разумеется? – прибавил он, обращаясь к оберамтманну.

Кандидат молча наклонил голову.

Фон Чиршниц пытливо осматривал кандидата.

– Я с глубоким участием услышала о тяжком ударе, – поразившем вас, – сказала госпожа фон Венденштейн, обращаясь к Гартвигу. – Как могло это несчастье наступить так скоро?

– Моя бедная жена, – отвечал фон Гартвиг со слезами на глазах, – была сильно потрясена событиями. Меня привезли к ней смертельно раненого; неутомимое попечение, забота и печаль расстроили ее уже ослабевшее здоровье: хроническая грудная болезнь приняла острый характер. И я встал со смертного одра для того только, – тут голос его задрожал, – чтобы проводить жену в могилу.

– Но придет день мщения, – сказал фон Чиршниц. – И, быть может, он близок!

– Мщения? – повторил оберамтманн печально и задумчиво. – Мщение принадлежит Господу, который один ведает, где истина и где неправда, человеческое же мщение только прибавляет новые звенья в страшной цепи страданий. Однако что нового? – продолжил он, переменяя тему. – Довольны ли господа, поступившие в прусскую службу?

– С ними обращаются крайне предупредительно, – отвечал фон Чиршниц. – Но они глубоко чувствуют всю тяжесть положения, в которое поставила их необходимость, тем более что, быть может, вскоре они отправятся в поход в новых мундирах!

Лейтенант внимательно прислушивался.

Кандидат бросил быстрый взгляд на офицеров.

– Отправятся в поход? – вскричал оберамтманн. – В какой?

– Со вчерашнего дня, – сказал фон Чиршниц, – все толкуют о дипломатическом кризисе. Франция присоединяет к себе Люксембург, газеты сообщают известия о громадном французском вооружении. Здесь также делаются тайные приготовления, по которым можно заключить о близости важных событий.

– Война с Францией? – сказал оберамтманн. – Быть может, она теснее сплотит новых братьев по оружию.

Офицеры промолчали. Лейтенант фон Венденштейн встал и начал расхаживать по комнате.

– Позвольте мне отправиться к своим делам, – сказал кандидат, – время мое крайне ограничено, а работы предстоит много.

Он поднялся.

Офицеры также встали.

– Нам нужно поговорить с вами наедине, – шепнул фон Чиршниц лейтенанту фон Венденштейну.

– Сейчас... Пойдемте в мою комнату, – отвечал последний и подошел к Елене, уже прочитавшей письмо отца.

– Надеюсь, – сказал оберамтманн кандидату, – что на обратном пути вы повидаетесь с нами?

– Я не премину засвидетельствовать свое почтение, – прибавил он, искоса взглянув на кузину, которая обвила руку своего жениха и опустила голову к нему на плечо, – и получить ответ Елены отцу.

Елена кивнула головой. Кандидат вышел из комнаты с почтительным поклоном и с кроткой улыбкой на сжатых губах.

Когда он вышел на улицу, эта улыбка исчезла, глаза загорелись злобой, жесткое неприязненное выражение исказило черты. Но вскоре лицо его приняло свое обычное равнодушное спокойствие, и быстрыми шагами направился он к Георгсваллю, где вошел в большой дом, в котором помещалось управление прусского гражданского комиссара барона фон Гарденберга.

Дежурный ввел его в приемную. Через полчаса кандидат стоял пред начальником прусского гражданского управления в бывшем Ганноверском королевстве.

Фон Гарденберг, человек лет сорока трех, с важным лицом, в котором замечалось некоторое нервное раздражение, сидел за своим письменным столом и жестом пригласил кандидата занять место напротив.

Тот, потупив глаза, смиренно начал:

– Я пришел просить ваше сиятельство...

– У меня нет этого титула, – отрезал фон Гарденберг.

Кандидат низко поклонился.

– Прежнее правительство, – сказал он, – обещало назначить меня в адъютанты к моему дяде, пастору Бергеру в Блехове. Обещание забыто, и я покорнейше прошу...

– Отчего вам не обратиться в департамент духовных дел? – спросил фон Гарденберг.

– Я тщетно обращался туда несколько раз, но не дождался ответа, – отвечал кандидат. – Не знаю, по множеству ли занятий или по личной неприязни. – Он возвел глаза к небу. – Я не могу выказывать упрямой привязанности к прежним порядкам, и, быть может, по этой причине высшие власти...

– Стало быть, вы смотрите на новые условия так, как мы того желаем для блага страны, которой посвящаем все заботы и к которой питаем искреннюю любовь? – спросил комиссар, пытливо смотря на кандидата.

– Так угодно Господу! – отвечал молодой человек, складывая руки. – И служителю алтаря не подобает идти против Божией воли: его долг – смягчать христианским увещанием, покорностью и любовью жестокость судьбы.

– Очень рад, господин кандидат, – сказал фон Гарденберг ласковее, – встретить такой образ мыслей. Насколько легче было б нам, повинувшись воле короля, поставить страну, тихо и миролюбиво, в новые условия! К сожалению, – продолжал он, – не все ваше сословие разделяет эти воззрения, и именно в кружках лютеранских пасторов мы встречаем противодействие, которое тем опаснее, что скрывается за неприкосновенностью духовного звания. – Кандидат помолчал с минуту. – Я еще молод летами и недавно занял должность, и суждение мое может быть неосновательно, но я не думаю, чтобы была возможность легко устранить недоброжелательное настроение... – Он замолчал.

– Из чего, по вашему мнению, происходит это настроение? – спросил фон Гарденберг. – Конечно, не от простой привязанности к королю Георгу: он многим был лично неизвестен.

– Если я осмелюсь, – сказал Берман нерешительно, – выразить свое мнение по этому вопросу, а также о состоянии всей страны...

– Прошу вас высказать свое мнение! – заметил фон Гарденберг. – Всякое замечание человека, близко знакомого со страной, будет чрезвычайно полезно нам и будет иметь право на нашу благодарность.

– Я полагаю, – отвечал кандидат, устремляя взгляд на Гарденберга, – что неприязненность духовенства к новому положению имеет не политическую, но, так сказать, чисто теологическую основу. – Пруско-евангелическая государственная церковь основана на унии – воссоединении того, что было разделено спорами реформаторов; ганноверская же церковь стоит на почве строгого и исключительного лютеранства, которое скорее перейдет в католичество, чем сделает шаг к сближению с реформатами. Ганноверское духовенство, – продолжал молодой человек, – видит в Пруссии и во всем прусском воплощение унии, то есть переход к реформатскому исповеданию или религиозному индифферентизму; оно считает древнелютеранскую церковь в опасности и, – с губ его сорвался вздох, – чтобы постичь степень фанатического раздражения, от которого зависят указанные воззрения, нужно возвращаться, подобно мне, в круг духовенства. В этом вопросе я беспристрастный наблюдатель, – сказал он после небольшой паузы. – Уже давно церковные отношения в Пруссии стали предметом моих исследований, и уже давно я удивляюсь тому мудрому строю евангелической государственной церкви, которая, на почве соединения обоих исповеданий, исключает всякую ненависть, неприязненность и еретичество, неизбежных спутников исключительного лютеранства – того лютеранства, которое ныне так сильно уклонилось от чистого духа евангелической свободы и любви, наполнявшего первых реформаторов.

Фон Гарденберг слушал внимательно.

– В самом деле, – сказал он, – вы, может быть, правы. Но чем противодействовать?

– Пока существует старая ганноверская церковь, – отвечал кандидат, медленно выговаривая слова, – до тех пор ее влияние будет враждебно новым условиям; она покорится необходимости, но будет ждать восстановления прежнего порядка. Введение унии, введение в Ганновер прусской государственной церкви представляет возможность приобрести влияние духовенства для слияния населений.

– Введение унии? – вскричал фон комиссар. – Если вы проследили прусское церковное развитие, то знаете, какое сильное потрясение вызвало в самой Пруссии введение унии, и притом в самое тихое время, при абсолютном правительстве. Можем ли мы давать народу, взволнованному агитацией, еще новый повод к смятению, вводя насильственно унию?

– Насильственно? – спросил кандидат. – Я не думал о насильственном введении. Осмелюсь сказать, что и в Пруссии это была ошибка, и здесь надобно действовать медленно и незаметно.

– Как применить к практике этот медленный и незаметный процесс? – спросил фон Гарденберг, интерес которого постепенно возрастал.

– Значительное большинство молодого духовенства, – отвечал кандидат, – склонно к тем убеждениям, которые я вынес из беспристрастного изучения церковных отношений. Молодое духовенство видит в унии великую и истинно реформатскую и протестантскую мысль с благотным, могучим влиянием как на политическое положение, так и на внутреннее свободное развитие церкви; оно с радостью будет приветствовать церковное объединение всего севера, всей протестантской Германии, объединение, которому доселе мешала политическая разрозненность. – Следовательно, – продолжал кандидат после небольшой паузы, – надо ставить везде, где можно, молодых, преданных идее церковного единения и, следовательно, политическому единству пасторов на место старых представителей оцепенелого лютеранства. Таким путем, без всякого видимого намерения и без резкого перехода, возможно приобрести и поста-

вить влияние духовенства на пользу нового порядка вещей. Успех, – прибавил он, – не будет поразителен, но верен – в этом я могу поручиться.

– Вы ясно и беспристрастно видите обстоятельства, – сказал фон Гарденберг. – Очень рад, что имел случай беседовать с вами. Вы сами, – продолжал он, пристально смотря на кандидата, – без сомнения, готовы действовать в указанном вами направлении?

– Я адъюнкт моего дяди и приехал сюда испросить у вас утверждения.

– Я немедленно распоряжусь, – сказал фон комиссар. – Ваш дядя...

– Пастор Бергер в Блехове, – сказал кандидат и фон Гарденберг записал имя. – Мой дядя, – продолжал Берман, – принадлежит самому строгому и исключительному лютеранскому направлению; конечно, он не содействует агитации, но никогда не станет дружелюбно смотреть на новый порядок.

– Но он стар? – спросил фон Гарденберг. – И, быть может, заслужил пенсию?

– Господин барон, – сказал кандидат тихим голосом, – он дядя мне, и я люблю его, как второго отца; средства, правда, позволяют ему жить без нужды, но он любит свою должность и общину.

Фон Гарденберг помолчал с минуту.

– Будьте уверены господин кандидат, – сказал он наконец, – что я позабочусь исполнить ваше желание. Надеюсь, вы, по мере сил, станете содействовать умиротворению страны, и мне всегда будет приятно видеть вас.

– Считаю за особое счастье, – отвечал кандидат, – что мои замечания заслужили ваше одобрение, и буду очень рад, если они помогут вести мое отечество к радостной будущности согласно непреложным судьбам Господа, тем более что предстоят опасности с другой стороны, и, быть может, падет еще много жертв гибельной агитации, – прибавил он со вздохом.

Фон Гарденберг насторожил уши.

– Так как вы отлично наблюдали и проследили условия в церковной области, – сказал он, – то не заметили ли и в других областях того, что может быть полезным – или вредным?

– Я слышал здесь, – сказал кандидат с некоторым колебанием, – что вследствие люксембургского вопроса предстоят неудовольствия с Францией. Я почти опасаюсь, что агитация, возбуждаемая королем Георгом или окружающими его лицами, идет полным ходом и что для опасных целей могут быть употреблены заблудшие молодые люди, офицеры... От чего многие семейства будут ввергнуты в печаль.

Фон Гарденберг с глубоким вниманием смотрел на спокойное лицо кандидата.

– Известны вам какие-нибудь подробности этого? – спросил комиссар с живостью. – Можете вы дать мне зацепку? Указать лиц?

Кандидат отрицательно помахал рукой.

– Господин барон, – сказал он, – я могу предостеречь, но не доносить.

– Дело серьезное! – возразил гражданский комиссар с нажимом. – По вашему указанию я имел право предлагать вам прямые вопросы, однако же обращаю ваше внимание только на то, что сообщение, какое вы сделаете мне, не будет иметь характера доноса. Я также имею основание думать, что в гвельфских кружках происходит что-то; в интересах самих молодых людей, которых могут совратить с истинного пути, я желал бы иметь возможность употребить предупредительные меры, пока еще не случилось ничего важного, потому что всякое враждебное против нас действие в настоящую минуту будет и должно быть наказано со всей строгостью закона.

– Это будет ужасно! – вскричал кандидат с выражением сильного ужаса, – если эти столь достойные семейства... Господин барон, – сказал он, будто невольно кладя руку на плечо гражданского комиссара, – если дело касается только предупредительных мер, то обратите внимание на лейтенанта фон Венденштейна!

– Фон Венденштейна? – переспросил фон Гарденберг. – Сына оберамтманна, который живет здесь с прошедшего года?

– Он самый, – отвечал кандидат. – Я боюсь за него, потому что он имеет частые сношения с враждебными Пруссии офицерами фон Чиршницем и фон Гартвигом.

– Фон Гартвигом? – вскричал гражданский комиссар. – Да это... – Он осекся. – И фон Гартвиг был здесь у фон Венденштейна... Это может навести на след, – шептал он. – Если бы удалось открыть нити...

– Но, ради бога, прошу вас, барон, – воззвал Берман, – действовать осторожно и не скомпрометировать меня... Не забудьте, что я говорил с лучшим намерением!

– Не беспокойтесь, – отвечал фон Гарденберг, – и рассчитывайте на мою благодарность за ваше стремление быть нам полезным!

Он встал.

Кандидат также встал и, глубоко поклонившись и потупив глаза, вышел из кабинета.

– Если удастся, – говорил себе он, – отдалить эту близкую свадьбу, то передо мной откроется обширное поле и станет возможно приобрести утраченное. Все устроивается хорошо, с какой стати должен я лишиться имущества дяди потому только, что какому-то офицеру вздумалось разыгрывать роман с моей кузиной? Посмотрим!

И с торжествующей улыбкой на тонких губах он оставил дом.

Между тем фон Гарденберг написал несколько строк, сложил лист бумаги и запечатал.

– Отнести тотчас к начальнику полиции Штейнманну! – приказал он дежурному, прибежавшему на громкий звон колокольчика.

Глава девятая

В большом светлом кабинете венского дворца, спиной к задней двери, сидел за письменным столом министр императорского двора и иностранных дел барон фон Бейст.

Слегка поседевшие и несколько поредевшие волосы, тщательно завитые, падали локонами по обеим сторонам высокого лба. Один угол рта несколько опустился, и игравшая на нем легкая улыбка вместе с веселым взглядом придавали всему лицу министра выражение спокойного довольства.

Фон Бейст откинулся на спинку кресла и внимательно рассматривал сообщение, поданное ему начальником отделения Гофманном, который сидел у стола напротив министра.

Гофманн, типичный тощий канцелярский работник с очень неприметным морщинистым лицом, казавшийся на вид старше своих лет, внимательно следил за выражением лица своего начальника, который при чтении несколько раз кивал головой, как бы выражая тем свое одобрение.

– Я очень рад, – сказал он наконец, бросив на стол прочитанное сообщение, – что князь Михаил готов отозвать свои чрезмерные требования и удовольствоваться очищением сербских крепостей от турецкого гарнизона. Этот гогенцоллернский принц на румынском престоле – прескверная для нас вещь; благодаря французскому влиянию в Константинополе он пользуется такими громадными преимуществами, что другие князья-данники могут взволноваться и своими спорами навязать нам на шею восточный вопрос.

– Это бочка с порохом на наших границах, – продолжал он с задумчивым выражением лица, – фитиль от нее постоянно находится в руках Петербурга и мешает нам в каждом независимом действии, в свободном выборе союзников!

– Благодаря искусству вашего сиятельства нам удастся устранить эту опасность, – сказал Гофманн. – Австрия опять занимает место в ряду государств, политика которых глубоко обдумана и гениальна, и дух минувших великих дней снова веет в древней государственной канцелярии.

Улыбка возвратилась на губы Бейста.

– Мы должны, – сказал он, рассматривая кончик сапога, выглядывавший из-под широких панталон, – употребить все наше влияние на Порту, чтобы получить ее согласие на упомянутое очищение крепостей. Пошлите немедленно к интернунцию ноту в этом смысле – он должен настаивать на скором ответе, чтобы окончательно разрешить этот сербский вопрос.

Гофманн поклонился.

– Но не надо останавливаться на этом, – продолжил министр. – Нам следует надолго отнять опасный характер у восточного вопроса и в то же время воспользоваться им, чтобы разрушить связь России с Пруссией – связь, которая парализует всякое наше развитие. Россия дружна с Пруссией, потому что нуждается в прикрытии своей восточной политики; если мы, со своей стороны, покажем ей готовность войти в ее виды и желания, то нам, быть может, удастся расторгнуть эту опасную дружбу. Я уже говорил с Граммоном о необходимости представить Порте от имени всех великих держав ноту, в которой просить ее о точном исполнении хатт-и-хумайюна²⁷ и удовлетворении справедливых требований ее христианских подданных в Кандии, Фессалии и Эпире. Кроме того, можно бы возбудить пересмотр парижского трактата 1856 года с целью уменьшить чрезмерное ограничение России – за это нас поблагодарили бы в Петербурге. Потрудитесь приготовить для князя Меттерниха конфиденциальную ноту в этом смысле, а я об этом подробно переговорю с Граммоном.

²⁷ Султанского рескрипта.

– Удивляюсь гениальной прозорливости вашего сиятельства, – сказал Гофманн. – Ваш взгляд сразу обнимает всю европейскую политику и умеет воспользоваться каждым обстоятельством для великих комбинаций.

– Я должен, – сказал фон Бейст с улыбкой, – употребить на пользу Австрии те наблюдения и сведения, которые приобрел и оценил еще в бытность саксонским министром. Я не вполне доверяю императору Наполеону, кажется, он ведет двойную игру и, получив некоторые вознаграждения для успокоения национального французского чувства, не задумается вступить в союз с Пруссией и Россией и устроить из этих трех держав европейский ареопаг; с одной Пруссией он никогда не заведет тесной дружбы, и уже на этом основании необходимо отвлечь петербургский кабинет от прусского. А этого мы успешнее всего достигнем, искусно воспользовавшись существенным пунктом – восточным вопросом. Это ядовитое растение для Австрии, – прибавил он с улыбкой, – сделаем же его не только безвредным, но и постараемся извлечь из него мед.

Вошел слуга и положил на стол перед министром большой черный портфель.

Фон Бейст отпер его ключиком и вынул несколько бумаг, которые внимательно просмотрел.

На лице министра явилось выражение испуга и удивления.

– Посмотрите, – вскричал он, – как я был прав, не доверяя французской политике! – Граф Вимпфен сообщает, что в Берлине неожиданно узнали о предположенной уступке Люксембурга Франции; общественное мнение сильно возбуждено, завтра будет сделан запрос в рейхстаге и, несмотря на крайнее спокойствие и почти равнодушие графа Бисмарка, положение должно быть чрезвычайно натянуто и опасно. Так вот ключ к французской политике! – продолжал фон Бейст, подавая Гофманну прочитанное сообщение. – За уступку Люксембурга и, может быть, за приобретение Бельгии он готов признать первенство Пруссии в Германии, заключить союз с Пруссией и Россией, а тем самым погубить будущность Австрии! К счастью, – продолжал министр, – этот лукавый игрок ошибся в своих комбинациях, граф Бисмарк – такой фактор, который ему не удалось просчитать; граф не заплатит императору ничего, с этим человеком невозможна правильная, рассчитанная вперед политика!

– Но, – продолжил он после небольшой паузы, в течение которой Гофманн внимательно читал ноту графа Вимпфена, – если этот конфликт поведет к войне, чего, быть может, и желают в Берлине, то какие будут последствия? Во всяком случае, окончательное установление порядка дел в Европе, и притом без участия Австрии, потому что мы в переходном состоянии, не можем действовать! Таким образом, – продолжал Бейст печально, – Австрия осуждена вечно испытывать последствия прошлогоднего удара, отказаться навсегда от великой цели, которой можно достигнуть только путем искусных и осторожных мер. Великая задача австрийской политики состоит в том, чтобы препятствовать всякому окончательному устройству и утверждению порядка дел в Европе и особенно в Германии; выиграть, посредством столкновения противоположных интересов, время для внутреннего укрепления и образования истинных союзов, чтобы потом, – глаза его загорелись, – когда новые силы оживят габсбургскую монархию, когда будет разрушено отчуждение Австрии, возратить утраченное и приобрести новое, блестящее и прочное могущество!

Он помолчал с минуту, как будто следил за разворачивавшейся перед мысленным взором картиной.

– Однако, – сказал он наконец, – для этого надобно пройти долгий путь, а теперь достаточно пресечь тайные нити Наполеона – он не должен получить Люксембурга. На основании этого мы можем прийти к соглашению с Германией. Но из этого вопроса не должна возникнуть война, которая затормозит преобразование Австрии и погубит политику будущего.

– Вы полагаете, что во Франции решатся вести войну? – спросил Гофманн.

– Как знать... – отвечал министр. – От Наполеона всегда можно ожидать *coup de tête*²⁸! Он перебрал бумаги, вынутые из портфеля.

– Вот нота Меттерниха! – сказал он, схватывая бумагу. – Посмотрим, что делается в Париже.

Он пробежал депешу глазами.

– В Париже сильно взволнованы, – сообщил он, – император огорчен внезапным открытием его планов, Мутье настаивает на твердом образе действий, императора окружает сильное шовинистское влияние. – Плохо, надобно во что бы то не стало предупредить разрыв. Впрочем, – прибавил он со вздохом облегчения, прочитав окончание ноты и передавая ее Гофманну, – император хлопочет о мире. Это для нас будет точкой опоры, и мы должны употребить все силы, чтобы предотвратить удар. Телеграфируйте немедленно Меттерниху, – сказал он после минутного размышления, – чтобы он настаивал на желании нашем сохранить мир и предложил наши услуги; я сам напишу ему, дабы он воспользовался всем своим влиянием и отклонил опасность. Пошлите такую же инструкцию Вимпфену. Потом мы должны сообща с Англией подготовить посредничество, предложить конференцию, от которой едва ли смогут отклониться обе стороны. – И тут его губы искривились в усмешке. – Когда дело попадет на зеленый стол, задор остынет. Потрудитесь изготовить и представить мне инструкцию для графа Аппони!

Гофманн поклонился.

– Прикажете переговорить о деле с Мейзенбургом? – спросил он.

– Конечно, – отвечал фон Бейст с легкой улыбкой, – я не хочу ни обходить, ни оскорблять его; полезно оставлять в новой постройке старые столбы, пока не будет возведено новое здание. Поговорите с ним – впрочем, на этот раз он будет совершенно согласен с нами.

Гофманн встал. Министр потянул за сонетку, висевшую над его письменным столом.

– Кто в приемной? – спросил он вошедшего дежурного.

– Герцог Граммон, – отвечал тот.

– Хорошо, – сказал фон Бейст, – стало быть, можно теперь же положить начало!

– Кроме того, – сказал дежурный, – ждет еще господин, давший мне карточку и это письмо для передачи вашему сиятельству.

Фон Бейст взял карточку.

– «Преподобный мистер Дуглас», – прочел он с удивлением. – Известно вам это имя?

Гофманн пожал плечами. Министр распечатал письмо.

– Граф Платен рекомендует мистера Дугласа, – сказал он. – Для меня будто бы будет интересно побеседовать с ним – он-де подробно знает английские дела, и ганноверский король принимает в нем большое участие. Не понимаю, но выслушаю. Попросите этого господина подождать немного, – обратился он к дежурному, – и введите сюда герцога.

Гофманн вышел из кабинета, раскланявшись в дверях с французским посланником, к которому пошел навстречу министр.

– Добрый день, герцог, – сказал фон Бейст по-французски, подавая руку. – Очень рад, что вы приехали, нам нужно переговорить об одном деле: я предвижу бурю в Европе, и мы должны бы сообща отклонить ее.

Герцог Граммон, в черном сюртуке с бантом ордена Почетного легиона, выпрямился во весь рост; на изящном его лице, обрамленном вьющимися волосами, с короткими закрученными вверх усами, играла гордая улыбка.

– Не легче ли бороться с бурей, чем отклонять ее? – сказал он, отвечая на рукопожатие.

Фон Бейст склонил голову на бок, по его губам скользнула едва заметная улыбка тонкой иронии; он сел за письменный стол и пригласил посланника занять место напротив.

²⁸ Отчаянной выходки (фр.).

– Бороться с бурей, – сказал министр, – отважно и благоразумно, когда нет иного пути достигнуть великой предполагаемой цели; но я не могу признать задачей государственного искусства борьбу с грозой, когда тем в результате цель не только не достигается, но, быть может, на веки становится недоступной. Однако станем говорить без метафор: я удивлен и, правду сказать, огорчен полученными из Парижа и Берлина известиями относительно уступки Люксембурга; в Берлине, похоже, не допустят этого.

– В таком случае примутся действовать! – сказал герцог, поднимая голову. – Раздастся повелительный голос Франции, который уже давно молчал. – Фон Бейст слегка покачал головой.

– Вы знаете, дорогой министр, – продолжал герцог Граммон, – как я сожалел о том, что император не захотел в минувшем году, в момент австрийской невзгоды, наложить решительное вето и вооруженной рукой вмешаться в события; вы знаете, как я настаивал на такой политике, но, – продолжал он, слегка пожав плечами, – эта политика не понравилась, и я, представитель императора, не смею подвергать случившихся событий грустному критическому обзору. Но факты свершились, и Франция должна поступать теперь так, как того требуют ее интересы, безопасность и величие, а также европейское равновесие. Увеличившаяся Пруссия, стоящая во главе немецкой объединенной военной силы, не имеет права удерживать в своей власти тех пунктов, которые были предоставлены безвредному Германскому Союзу, и Франция обязана, в видах безопасности своих границ, требовать новых военных объектов как гарантии – таковым представляется Люксембург, и если он не будет уступлен нам, – прибавил герцог гордым тоном, – то мы его возьмем.

Фон Бейст покачивал головой из стороны в сторону и посматривал из-под опущенных век на герцога, который увлекся разговором.

– Вы сейчас назвали ошибкой пассивность Франции относительно немецкой катастрофы, – сказал фон Бейст спокойным голосом, – следовательно, я могу немедленно принять эту указанную вам самим исходную точку. Но сочтете ли вы исправлением ошибки, если Франция, не воевавшая в надлежущую минуту, станет воевать в неудобный момент?

Герцог взглянул на него с некоторым удивлением.

– Почему же настоящий момент неудобен? – спросил он. – Отказ Пруссии дать нам это поистине скромное и в высшей степени справедливое вознаграждение воспламенит французское национальное чувство, и разгневанная Франция будет непобедима. Притом в настоящее время объединение Германии мало подвинулось вперед, новоприобретенные области озлоблены, в южной Германии сильно распространен антипруссский дух, раны, нанесенные Пруссии войной, еще не исцелились, может ли представиться лучший случай дать урок новому прусскому величию и получить столь справедливое удовлетворение?

Фон Бейст опять покачал головой, продолжая улыбаться.

– И когда вы победите и Франция выиграет решительную битву, то чего вы достигнете? – спросил он.

– Достигнем того, чего требовали! – вскричал герцог почти с удивлением. – Может быть, несколько менее того, зато докажем Пруссии, что еще не настала минута смотреть свысока на Францию и не внимать ее голосу. Мы получим прочные гарантии безопасности наших границ.

– Дорогой герцог, – сказал фон Бейст невозмутимо, – ответите ли вы мне откровенно на один вопрос?

– Конечно! Вам известно, что я не скрываю своего личного мнения, хотя бы оно и не согласовалось с теми воззрениями, которые я как представитель своего правительства должен считать правильными.

– Итак, – продолжал фон Бейст, – мой вопрос касается Италии. Вы приобрели Савойю и Ниццу с целью обезопасить свои границы против военного объединения Италии. Не считаете ли вы, что достигли этого более эффективно и надежно, если бы твердо держались исполнения

цюрихского трактата и создали федеративную Италию, которая, наслаждаясь спокойствием внутреннего равновесия, никогда бы не подумала стать опасной для вас своими воинственными демаршами?

– Я всегда считал основания цюрихского трактата самой лучшей и мудрой политикой в отношении Италии, – ответил герцог, поразмыслив немного. – И сожалею, что нельзя было осуществить эту политику.

– Точно таково теперь ваше отношение к Германии, – продолжил фон Бейст. – С той только разницей, что физическая сила Германии могущественнее итальянской; что Германия, сосредоточившись под прусским главенством, гораздо опаснее для вас, чем Италия. Не пренебрегайте же пражским миром, как пренебрегли цюрихским трактатом.

Граммон задумчиво потупил взор.

– Позвольте мне подробнее изложить дело, – сказал фон Бейст, – и выразить вам все свои мысли, потому что, может быть, мы стоим на серьезном поворотном пункте, от которого зависит будущее устройство Европы и, – прибавил он, бросив на герцога пронизательный взгляд, – будущие отношения между Францией и Австрией.

– Общие интересы служат связью этим двум державам, – заметил герцог.

– Во-первых, у них общий противник, – продолжал министр спокойно, – это уже много значит, но вместе с тем представляет отрицательную почву, ибо политическая враждебность может изменяться. Однако я вижу множество положительных пунктов, которые при правильной постановке и формулировке могут лечь в основание прочного и долговременного союза, такого, который может сыграть громадную и позитивную роль для обеих держав.

Лицо герцога выражало глубочайшее внимание.

– Требуя теперь вознаграждения, – стал развивать тему фон Бейст, – желая добиться его вооруженною рукой, вы начинаете войну, – извините, что мое мнение диаметрально противоположно вашему, – войну с самыми неблагоприятными шансами, в самый дурной момент. Вы затрагиваете Пруссию по такой причине, которая непременно воспламенит немецкое национальное чувство, ведь речь об уступке немецкой области. Южногерманские правительства не имеют желаний защищать прусские интересы, но, видя возбужденное национальное чувство народа, тем скорее возьмут сторону Пруссии, что нигде не видят точки опоры и живо помнят грустную судьбу князей, лишенных престола. Мы, со своей стороны, безусловно, не можем восстать, и если бы даже рискнули действовать, несмотря на свои незаконченные и неокрепшие преобразования, то наши действия будут парализованы Россией и Италией. Таким образом, вы одни, без союзников, станете лицом к лицу с немецким национальным гневом и с более или менее открытой враждебностью Италии и России. Относительно первой вы сами можете определить, какие последствия будет иметь для римского вопроса изолированность Франции в борьбе с немцами.

– Я не обманываю себя относительно всего этого, – сказал Граммон с некоторым колебанием, – но неужели следует постоянно уступать ненасытному, беспощадному честолюбию Пруссии; неужели все великие европейские державы должны преклоняться перед берлинским кабинетом?

Фон Бейст со спокойной улыбкой смотрел на взволнованное лицо французского дипломата.

– Знаете, – продолжил министр, негромко барабанив пальцами по столу, – знаете ли, дорогой герцог, в чем состоит наше самое действенное оружие против прусского владычества? В терпении!

– Франция не привыкла владеть этим оружием! – возразил Граммон.

– И однако, – заявил фон Бейст, – я только могу настоятельно советовать взяться за это оружие, потому что только оно, по моему убеждению, обеспечивает нам победу, достижение конечной цели. Вы убедитесь, что я рекомендую не одно негативное терпение, безде-

ятельное отстранение, но желаю подготовить такую серьезную и богатую последствиями деятельность, чтобы успех был безусловно верен. Я хочу избежать тех ошибок, которые делались в Австрии и дурные последствия коих я призван исправить. Только в том случае можно с успехом потрясти развивающееся могущество Пруссии, – продолжал фон Бейст оживившись так, что щеки его покрыл легкий румянец, – когда мы изолируем ее и противопоставим ей коалицию, которая охватит ее со всех сторон. Теперь положение обратное. Пруссия находится между своими сильными союзниками, Австрия бессильна, и Франция поэтому стоит одиноко. Первая наша задача состоит в отторжении Италии от прусского союза. Франция, Австрия и Италия образуют могучую силу, тем значительнейшую, что она охватывает, как железное кольцо, южную Германию и может удерживать ее от слияния с северной. Будет ли возможность для Италии примкнуть к австрийско-французскому союзу? Я думаю, да. Король Виктор-Эммануил искренно желает установить лучшие отношения с нашим императорским домом, французское влияние во Флоренции велико, министерство поддержит это влияние, и, сделав некоторые уступки в римском вопросе, можно, не обнаруживая цели, привлечь на свою сторону общественное мнение. Достигнув этого, мы станем на твердое, серьезное основание. Затем следует отвлечь Россию от Пруссии, что, по-моему, не представляет трудности. Предложив свои услуги России на Востоке, мы уничтожим причину тесного ее сближения с Пруссией; вам известно, что я уже поднял вопрос о пересмотре парижского трактата, и замечая вследствие того чувствительное улучшение наших отношений с петербургским кабинетом. Подвигаясь далее по этому пути с надлежащей осторожностью и искусством, мы, надеюсь, разрушим тесный союз северных держав, который так стесняет и парализует австрийскую политику. Вот предстоящая нам дипломатическая задача. Но в то же время мы должны непрерывно и неунынно радеть об усилении в Германии антипруссских элементов, об их сосредоточении и организации, чтобы в минуту действия мы могли произвести сильное давление на колеблющиеся правительства. Но и для этого необходимо время. У нас здесь ганноверский король и гессенский курфюрст, а следовательно, в наших руках нити агитации в означенных областях. Вы можете воздействовать на католическую прессу в Баварии; неприятные столкновения с прусскими централизационными стремлениями окажут в свою очередь содействие, и таким образом наступит время раздробить, а не утвердить, как вы опасаетесь, незаконченное дело минувшего года.

– Удивляюсь обширным и глубоким комбинациям, которые вы раскрываете мне в своих словах, – сказал Граммон.

Фон Бейст улыбнулся.

– Чтобы подготовить все это, – продолжал он, – необходимо наблюдать за строгим сохранением границ между северной и южной Германией и, вместо того, чтобы изобретать всякие вознаграждения, французской политике следует объединиться с австрийской для неуклонного соблюдения пражского мира и устройства южногерманского союза, предвиденного и утвержденного данным трактатом. Союза, который подпадет под наше общее влияние. Вот ключ к будущему.

– Но пражский мир уже нарушен! – сказал герцог. – Я говорю про военные союзы с южногерманскими государствами, про которые недавно стало известно.

Фон Бейст тонко улыбнулся.

– Именно эти союзы играют нам на руку, – сказал он. – Пруссия нарушила пражский трактат и дала нам повод к конфликту, когда наступит желаемое для него время. Если из этого вопроса вырастет кризис, то Пруссия нарушит созданное ею самой правовое поле трактата, мы же явимся его защитниками; это весьма важно, особенно для Франции, потому что она может вмешиваться в германские дела только в качестве защитницы немецкого права, а не с целью помогать отторжению немецких областей. Вот, – подытожил он, – в общих чертах те идеи, которые должны, по моему убеждению, служить руководством на будущее время; дальнейшие изменения при их применении будут указываться постепенно, если мы решим идти сообща

и согласно по этой дороге, которая хотя и требует теперь от нас величайшей сдержанности и осторожности, зато верно ведет к конечной цели.

Фон Бейст говорил с воодушевлением, его лицо выражало душевное волнение. Он выжидательно воззрился на герцога.

Последний молчал несколько мгновений: тонкие, с красивым разрезом и почти всегда улыбающиеся губы были угрюмо сжаты, глаза потуплены.

– Вы, кажется, правы, – сказал он наконец. – Вы истинный государственный муж, который понимает и подчиняет все спокойно и твердо великой цели. Я признаю мудрость наших замечаний, величие и ясность ваших идей, хотя, – прибавил он, слегка покачивая головой, – мое воинственное чувство неохотно подчиняется системе терпения.

– Успокойтесь, герцог, – сказал фон Бейст с улыбкой, – придет и ваше время. Нам нужно взять сильную крепость – после тихой и тяжелой работы инженеров в апрошах наступает минута приступа. Итак, – продолжал он, – вы одобряете мой план и разделяете мое мнение?

– Вполне, – отвечал Граммон, – и употреблю все силы, чтобы дать ход в Париже вашим воззрениям. Вы позволите мне подробно передать нашу беседу?

– Вы обяжете меня этим, – сказал фон Бейст, – я поручу князю Меттерниху говорить в том же смысле. Главное, не забудьте настаивать на том, что если император не усвоит моих мнений, которые вполне разделяет его апостолическое величество, и если поэтому из Люксембургского вопроса возникнет война, то нельзя ожидать никакой помощи от Австрии: последняя будет вынуждена соблюдать самый строгий нейтралитет.

Герцог слегка поклонился.

– Однако, – продолжал фон Бейст, – дело так важно, что, быть может, лучше было бы ехать вам самому в Париж. Вы хорошо знаете здешнее положение, и устное слово, личный разговор действуют сильнее всяких депеш.

– Я совершенно готов, – отвечал герцог, – и, если угодно, могу выехать хоть сию минуту.

– Подождите еще несколько дней, – сказал фон Бейст, – пока я получу сведения о дальнейшем ходе дела в Берлине и о мнении английского кабинета; тогда я могу формулировать свое мнение, взвесив все обстоятельства... К тому времени, может быть, остынет и гнев в Париже.

– Вы сами потрудитесь назначить минуту моего отъезда, – отвечал герцог, вставая, – а я между тем отошлю свое сообщение и уведомя о своем приезде.

Фон Бейст проводил француза до дверей и искренне пожал руку.

– Как будет трудно сохранить спокойствие, – сказал он со вздохом, – пока не совершится возрождение Австрии, пока не соединятся все эти разнородные элементы в одну машину, покорную единой управляющей воле! – Он простоял несколько минут в задумчивости. – Но цель будет достигнута! – Лицо его осветилось радостной уверенностью. – Всеми этими факторами, из коих складывается политически мир, можно руководить умом, комбинациями, искусным управлением противоположных сил; главное, не допустить преждевременного взрыва грубой силы. Испытаем, чего могут достичь ум и искусная политика! – Он подошел к письменному столу и позвонил. – Введите господина, приславшего мне свою карточку, – сказал он дежурному.

Преподобный мистер Дуглас, как значилось на его карточке, широкоплечий, маленький, приземистый человек лет пятидесяти, принадлежал к числу тех личностей, которых, увидев однажды, трудно потом забыть.

Его большое с крупными чертами лицо, с несколькими шрамами, широким носом и в обрамлении длинных свисающих волос выражало смесь энергии и фанатизма; его глаза, до того косившие, что никогда нельзя было уловить их взгляда, составляли, вместе с мясистым ртом и толстым подбородком такую уродливую гримасу, подобную которой едва ли можно было отыскать еще в мире. Однако эта совокупность, почти ужасная на первый взгляд, была

не лишена некоторой привлекательности, потому что в уродливых чертах горел свет большого ума.

Мистер Дуглас, одетый в простой черный сюртук, спокойно вошел, поклонился и стал пред министром с той важной сдержанностью, которая так свойственна английскому духовенству.

Удивленный и пораженный, фон Бейст смотрел на эту странную личность.

Потом учтиво указал на стул и сел за письменный стол.

– Граф Платен пишет мне, – сказал он на чистом английском, когда мистер Дуглас устроился напротив, – что вы прибыли из Англии и можете сообщить мне много интересного.

Мистер Дуглас отвечал звучным голосом, тон которого напоминал привычку говорить проповеди.

– Считаю себя счастливым, что вижу великого государственного мужа, имя которого пользуется симпатией у нас в Англии, которому я давно удивляюсь и который, как я убежден, поймет и оценит волнующие меня идеи.

Фон Бейст с улыбкой кивнул.

– Мне очень приятно, – сказал он, – если мое имя пользуется известностью в Англии. Я, со своей стороны, всегда питал истинное уважение к духу английской нации.

– Мы в Англии следим с глубочайшим интересом за всем, что делает ваше сиятельство для достижения предстоящей вам великой цели, которая только вам по силам. В особенности я, – продолжал британец, – следил с пристальным вниманием за вашими трудами, потому что связываю их с великою мыслью, которая наполняет меня и руководит мной до такой степени, что я покинул родину, дабы привести в исполнение то, чем проникнуто все мое внутреннее существо.

Удивленный взгляд фон Бейста выражал отчасти ожидание тех сведений, которым предшествовало такое странное введение.

– Я подробно и внимательно изучил историю Европы в той форме, в какой она развилась в последние годы, – продолжал мистер Дуглас, – в то же время, по своему духовному званию, я внимательно изучил Священное Писание и на основании этих двух исследований пришел к тому убеждению, что ныне исполняется откровение великого евангелиста и предстоит борьба со змием, восстающим против Неба, дабы приуготовить Царствие Божие!

Фон Бейст глядел во все глаза на странного собеседника, некрасивое лицо которого горело фанатическим убеждением, правая рука поднялась, левая была прижата к груди. Министр решительно не знал, что делать с этой примечательной личностью.

– Змий, – продолжал мистер Дуглас, – это Пруссия, которая разрушает основания права, попирает святость веры, христианство, низвергает престолы и алтари и готова предать мир неверию, язычеству. Низверженные же ею мужи в белых одеяниях – это те, которые непоколебимы в вере, религии, истине. Те, кто должен объединиться, чтобы помочь архангелу Михаилу в битве со змием мрака.

Странная улыбка бродила на губах министра. Молча и с возрастающим удивлением рассматривал он странного толкователя апокалипсиса.

Мистер Дуглас опустил руку; с его лица исчезло выражение фанатической восторженности и он продолжал спокойным тоном:

– Все это я нашел в тщательном изучении истории и в откровении. Оно стало еще яснее с того времени, когда я проник в тайны спиритизма. Я сносился с самыми великими людьми минувшего времени, и все их слова подтвердили, что настала минута начать общую битву со змием.

Фон Бейст продолжал молчать.

– Призванными же принять эту битву, в тесном союзе между собою, должны быть те европейские державы, из которых каждая исповедует христианство, имеет белое одея-

ние избранников. Эти державы таковы: Англия, представительница высокой епископальной церкви, Австрия и Франция, католические державы; Россия, держащая в руках крест, которому поклоняется Восточная церковь. Что значит, – продолжал он, – разница в исповеданиях сравнительно с бездной, которая отделяет всех этих представителей христианской религии от державы, попирающей право, низвергающей владык и превращающей церковь в служебный государственный институт? Следовательно, великие христианские страны должны соединиться для низвержения Пруссии и ее сателлита – Италии, восстановления на земле права, власти и веры.

Фон Бейст сделал нетерпеливое движение.

– Не думаю, – сказал он с едва заметной улыбкой, – чтобы эта точка зрения, заимствованная из теологических взглядов, могла руководить политикой европейских кабинетов, которые имеют самое мирское настроение.

Мистер Дуглас улыбнулся с сознанием превосходства.

– Мирские интересы вполне совпадают с условиями предопределенного развития христианского мира, точно так, как вообще сущность религии состоит в том, что истины ее покоряют и управляют теми, кто не признает их. Рассмотрите, ваше сиятельство, – продолжал англичанин, – положение и присущие задачи европейских держав – и вы найдете, что они, в видах своего собственного, чисто политического, мирского интереса, должны действовать так, как требует того мое мировоззрение. Вы стоите во главе австрийского правительства, руководите государством, которое унижено общим врагом, лишено своих священнейших и неприкосновенных прав, которое падет и погибнет, если не ополчится на грозную, беспощадную брань. Вам угрожает Италия, союзница вашего врага; вам суждено заключить союз с Францией, которая тогда только может существовать, когда станет искать опоры в религии и праве, ибо в недрах ее уже бродит революция, и только сила религии, вечная истина, может прогнать извергнутых кратером злых духов. Две другие державы, – продолжал мистер Дуглас со вздохом, – которые были призваны участвовать в великой битве, стоят, к сожалению, в стороне: прежде всего Англия, мое отечество, потому что погрязла в материализме. Но она только дремлет – стоит пробудить старый английский дух, и Англия снова направит все свои силы на восстановление святой истины. Затем Россия, с прискорбием взирающая на падение всего, что было свято и честно в течение тысячелетий. Россия, говорю я, отвлекается от тех, с кем должна бы действовать сообща: ей преградили путь естественного развития, вместо того чтобы в союзе с нею изгнать язычников из древнего града великого Константина. Этим самым насильственно толкнули Россию к Пруссии и значительно усилили могущество общего врага.

Фон Бейст продолжал внимательно слушать.

– Говорили вы кому-нибудь о своих идеях и планах? – спросил он.

– Говорил, вообще, некоторым друзьям в Англии, придерживающимся одного со мной образа мыслей, – отвечал мистер Дуглас. – Что же касается подробностей и осуществления идей, поглотивших все мое существование, то я беседовал только с вами. Я не имел покоя, день и ночь волновала меня мысль, которая становилась могущественнее и яснее; я чувствовал, что должен проповедовать ее владыкам мира. Но как мог проникнуть мой голос, голос простого пастора, жившего доселе в тихом уединении, в исполнении обязанностей своего звания, туда, где обитает власть, где слагается история мира? Тогда Господь внушил мне обратиться к ганноверскому королю – он природный английский принц, он жестоко и тяжело пострадал от царствующей в мире неправды, он просто призван открыть мне дорогу. Я получил от одной дамы рекомендательное письмо к королеве Марии, которая грустно и одиноко проводит свои дни в Мариенбурге; прусская стража беспрепятственно пропустила меня, обычного пастора, к высокопоставленной женщине, и я принес ей утешение и крепость, я пробудил в ее душе веру и надежду на божественную помощь и указал, что могущество христианской мысли пробудит европейские державы, и те восстановят правду и ее царство. Королева поняла меня и послала в Гитцинг к своему высокому супругу, которому я изложил в общих чертах наполнявшие меня

мысли. Король выслушал с большим участием мои идеи, понял как основанные на христианской религии принципы, послужившие мне исходной точкой, так и политические комбинации, посредством которых я предполагаю достигнуть великой цели. Государь приказал открыть мне дорогу к вашему сиятельству, ибо – это его слова – «вы найдете там великий ум, способный постигнуть ваши идеи, и искусную руку, которая укажет и откроет вам путь для их исполнения».

Фон Бейст задумчиво слушал.

– Правду сказать, я поражен вашим воззрением, – сказал он, когда мистер Дуглас закончил речь. – Вы одним взглядом обнимаете все положение Европы и так превосходно и тонко очерчиваете основополагающие пункты, что я буду искренно сожалеть, если ваши мысли останутся личными размышлениями. Со своей стороны, я очень рад узнать ваши идеи, но я представитель только одной европейской державы, притом бессильной в настоящую минуту. Если хотите дать своим мыслям практическое применение, то изложите их в Париже и Петербурге.

– Я ничего больше и не желаю! – вскричал мистер Дуглас. – Ганноверский король обещал ввести меня как к императору Наполеону, так и ко двору в Петербурге. Однако я желал бы не быть исключительным защитником особенных прав ганноверского короля; я желал бы опираться на власть, одобрение и помощь которой придали бы особый вес моим словам.

– Я готов вам оказать поддержку, – сказал фон Бейст, – разумеется, возможную в моем положении, потому что, согласитесь, не могу же я, несмотря на свое расположение к вашим мыслям, признать их официальной формулой австрийской политики: это затруднило бы вам доступ, повело к преждевременной гласности и пробудило осторожность противников. Однако я считаю весьма важным и полезным, чтобы вы лично, со свойственным вам обаятельным красноречием, изложили свои комбинации надлежащим дворам. Я думаю, – прибавил он после краткого размышления, – будет лучше, если вас сперва рекомендует ганноверский король, дело которого я близко принимаю к сердцу и в отношении которого Австрия имеет определенные обязательства. Я попрошу австрийских посланников поддерживать вас и облегчать доступ всюду, куда укажет необходимость. Поезжайте сперва в Париж, получив рекомендательное письмо от ганноверского короля, а от меня – письмо к князю Меттерниху, потом ваш путь лежит в Петербург.

– От всего сердца благодарю ваше сиятельство за благосклонность и деятельное участие, – сказал мистер Дуглас. – Я немедленно передам наш разговор ганноверскому королю – он будет очень рад, что я нашел у вашего сиятельства сильную поддержку.

– Во всяком случае, я еще увижусь с вами, – сказал фон Бейст. – Приходите ко мне вечером, я всегда буду для вас дома, если только меня не отвлекут не терпящие отлагательства дела; мне будет весьма приятно побеседовать с вами. Надеюсь, что вы подробно станете уведомлять меня о своих разговорах и успехах как в Париже так и в Петербурге.

– С этой минуты я в полном распоряжении вашего сиятельства! – сказал мистер Дуглас, вставая. – Положитесь вполне на меня и будьте уверены, что я употреблю все силы на то, чтобы вручить вам управление европейскою политикой.

– Вы говорили с графом Платеном о своих идеях? – спросил фон Бейст.

– Немного, – отвечал мистер Дуглас, – я не счел этого необходимым.

Фон Бейст, улыбаясь, кивнул головой.

– До свиданья! – сказал он, вставая и протягивая руку мистеру Дугласу, который потом удалился медленным и спокойным шагом.

– *Though this be madness, yet there is method in't!*²⁹ – сказал фон Бейст, садясь опять и впадая в задумчивость. – Пусть этот странный мечтатель разузнает настроение кабинетов; во всяком случае, он увидит и услышит многое, что скрыто от взоров дипломатии, и может ока-

²⁹ Хотя это и безумие, но в нем есть метод (англ.).

заться в высшей степени полезным для меня. И хотя он стоит на точке зрения теософического фанатизма, однако же его политические мысли вполне совпадают с моими планами; император Наполеон склонен к мистике, а в Петербурге... Чем больше нитей, тем лучше, и самые лучшие и действенные из них те, которые скрываются во мраке.

Министр взглянул на часы и позвонил.

– Прикажите моему слуге подать лошадь! – сказал он вошедшему дежурному. – Я поеду верхом!

Глава десятая

На улице Нотр-Дам-де-Лоретт, в том самом доме, в котором Джулия, любимица фон Грабенова, занимала половину бельэтажа, жил в другой половине художник Романо, как значилось на фарфоровой дощечке, прибитой у входной двери. В довольно большой комнате, походившей на салон, сидел, нагнувшись над столом, мужчина и ревностно трудился над рисунком тушью.

Он был одет в черный застегнутый доверху бархатный сюртук; прилипшие к вискам, длинные черные волосы были жидки и местами седы, хотя по наружности нельзя было ему дать более тридцати лет. Черты лица отличались благородной красотой; лоб стал высок вследствие преждевременного выпадения волос; под темными, красиво изогнутыми бровями блесгли черные как уголь глаза, горевшие лихорадочным блеском; греческий нос резко обрисовывался на исхудалом лице, а вокруг рта с плотно сжатыми, тонкими губами, пролегали те своеобразные морщинки, которые служат доказательством глубоких душевных страданий.

У другого окна стоял старый оборванный диван; рядом с ним мольберт и стол с палитрой, кистями и красочным ящиком. На мольберте стояла большая картина, изображавшая воскресение Спасителя; контуры были гениальны, некоторые части почти отделаны, другие едва начаты, целое же выдавало характер неоконченности, разбросанности художника.

У камина, в котором догорали последние искры угасающего огня, висела картина, представлявшая молодую женщину в идеально белом одеянии, которая чрезвычайно походила на Джулию.

Художник Романо угрюмо смотрел на свой рисунок; худая с синими жилками рука вяло опустилась на бумагу, большие глаза бессмысленно смотрели на контуры. Он вдруг вскочил, бросил кисточку, которую держал машинально, и начал расхаживать по комнате.

– Что за жизнь! – вскричал он. – Какое жалкое существование влачит эта живая машина, предназначенная быть жилищем души, созданной по подобию Божию и которая представляет теперь жалкую и пустую клетку разбитого, потрясенного духа, готового оставить свою земную тюрьму для того только, чтобы погрузиться в бездну вечных мук!

Он угрюмо кинулся на старый диван.

– Сколько раз, – продолжал живописец, – я открывал жаждущие уста, чтобы выпить яд и тем положить предел своему ужасному существованию; как часто я наставлял трехгранный клинок напротив этого бедного сердца, чтобы сразу прекратить его грустное биение? Но уста сжимались тоскливо, дрожащая рука опускалась при мысли, что, покидая мучения здешней жизни, я предстану пред пламенным престолом Вечного Судии! Велико, неслыханно мое преступление, – вскричал он, заламывая руки, – но также велики, жестоки мои страдания и мое раскаянье! Я мог бы ждать прощенья, если бы судила бесконечная любовь Творца, а не Его неподкупное правосудие, но имею ли я право на эту любовь: я, низко обманувший доверие глубокой любви? Правда, – сказал Романо тихо, со слезами на глазах, – меня простило бы великодушное сердце моего обманутого брата, и часто я хотел отыскать его и броситься с мольбой к его ногам, но меня удерживали стыд и отчаянье!

Он долго смотрел на неоконченную картину, стоявшую на мольберте.

– Как любил я тебя, святое божественное искусство! – промолвил он с мягким мечтательным выражением во взоре. – Как неслась моя душа к высоким образцам великого прошлого, как пылало мое сердце творческим стремлением... О, я мог бы создать великое и прекрасное, потому что для моих взоров была открыта святость вечной красоты, и рука обладала искусством воспроизвести в осязательных образах мои внутренние картины. Но с той минуты, как я нарушил верность и предал доверие моего брата, с тех пор как я придал Преподобной Деве черты грешной жены и греховные помыслы обвили, как змеи, мою душу, с тех пор исчезла для меня гармония красоты, и рука утратила творческую силу: она может только рабски пере-

давать картины обыденной жизни! Я хотел написать воскресение Спасителя, – прошептал он мрачно, устремив на картину пылающий взор, – я хотел найти утешение в любвеобильном образе Искупителя, восходящего из земной могилы к вечному престолу Отца, пред которым он омывает все грехи человечества Своею святою кровью, пролитою на кресте. Но луч милости не нисходит на меня, и хотя пред моим внутренним оком иногда являлся просветленный лик Спасителя, однако я не мог воспроизвести его на полотне: этот лик принимал под моею кистью черты немилосердного, строгого, неумолимого судьи!

Художник повалился со стоном. Долго лежал он безмолвно и недвижимо; слышалось только тяжелое дыхание, которое с болезненными стонами вырывалось из его груди.

Отворилась дверь в прилежащую комнату, и через нее можно было увидеть богато меблированный салон, из которого вошла к художнику высокая роскошная женщина в темном, шумящем шелковом платье: ее густые черные косы переплетались в виде одной из тех странных причесок, которые являлись в то время в бесчисленных формах, не принадлежавших никакой эпохе, никакой национальности и способных напоминать только жительниц тех далеких берегов, которых еще не коснулась цивилизация.

С первого же взгляда было видно, что эта женщина служила первообразом висевшего над камином портрета: те же благородные, классические черты, тот же изгиб бровей, тоже поразительное сходство с возлюбленною фон Грабенова.

Но годы разрушительно пронесли над лицом этой женщины, и бурные страсти сильнее лет испортили первоначальные формы, отметив их печатью чувственной низости. Очевидно, эта женщина состарилась преждевременно: глубокие морщины, правда, прикрытые искусно румянами и белилами, бледная неграциозная улыбка, игравшая иногда на прекрасных от природы губах, мало гармонировали с изящными и гибкими еще движениями ее тела.

Эта женщина остановилась в дверях и обвела взглядом простую, скудно меблированную комнату, которая составляла резкий контраст с роскошным салоном, видневшимся через отворенную дверь.

Наконец взгляд ее остановился на художнике, неподвижно лежавшем в углу дивана. Глаза ее загорелись злобой и презрением, она с горькой улыбкой пожала плечами.

– Джулия здесь? – спросила она резким и жестким голосом, когда-то звучным и мелодичным.

При звуках этого голоса художник приподнялся и обвел кругом испуганными глазами, как будто возвратился из другого мира.

– Я искала здесь Джулию, – сказала женщина холодно и резко, – мне нужно поговорить с нею, и я думала найти ее здесь. Через полчаса приедет Мирпор послушать ее голос.

Художник встал. Безнадежное, апатичное выражение его бледного лица заменилось невольным волнением; на впалых щеках показался легкий румянец, в черных ушедших под лоб глазах загорелся лихорадочный огонь.

– Стало быть, ты не отказалась от мысли выпустить ее на сцену? – спросил он.

– Как же иначе? – отрезала дама. – Я должна подумать о будущем, о том, как жить ей и нам: до сих пор я заботилась об этом, когда же стану стара, обязанность эта перейдет к моей дочери.

– О будущем? – спросил он. – Я не просил тебя заботиться о моем! Моя работа постоянно кормила меня!

– Работа рисовальщика для иллюстрированных журналов, – бросила она насмешливо, пожав плечами. – Хороша жизнь!

И женщина презрительно окинула взглядом скудное убранство комнаты.

– Я предпочитаю ее твоей, – сказал художник спокойно, – все утешение мое в страданиях совести состоит в этой простоте и бедности, в которой по крайней мере нет никаких пороков и позора.

Улыбка холодной злобы искривила ее губы.

– Этих фраз я не понимаю, и они не производят на меня никакого впечатления, – сказала она равнодушным тоном, – со своей стороны, я измеряю другой меркой требования и условия моей жизни и по своему позабочусь о будущем моей дочери. Если бы ты, – продолжала дама резким тоном, – употребил свой богатый талант на писание картин, выхваченных из веселой полной жизни, картин полных света, силы и правды, то превратил бы полотно и краски в чистое золото, которое дало бы нам всем привольную и беззаботную жизнь. Вместо этого ты угрюмо корпеешь над идеальными образами, которые не удаются тебе, и будучи в состоянии стать первым в искусстве, рисуешь жалкие политипажи для слабоумной толпы.

Художник глубоко вздохнул.

– Ты призвала змею в цветущий сад моей жизни, – сказал он с горькой улыбкой, – ты подала мне одуряющий плод греха – смейся ж теперь над проклятым! Но тебе известно, что Джулия не хочет вступать на здешнюю сцену, которая ничто иное, как выставка красоты, конкуренция о высшей награде за нее. Джулия не хочет вступать на тот путь, первыми шагами на котором служит эта сцена, и я первый стану защищать ее от принуждения к этому!

– Ты? – вскричала женщина насмешливо. – По какому праву? Кто позволяет тебе вмешиваться в мои распоряжения о будущем моей дочери? Первый шаг? – повторила она с презрительным жестом. – Разве дочь уже не сделала его, разве не известно всему дому, что она любовница этого маленького скучного немца, который приводит меня в отчаяние своей сентиментальностью?

– Дурно, если это так! – сказал он со вздохом. – Я не мог воспрепятствовать, потому что ты предоставляешь ей полную свободу, но внутренне она не пала – она повиновалась любви, истинной, чистой любви своего юного сердца: пусть свет судит как хочет, но отношения их обоих честны, чисты... и быть может... – прошептал художник в задумчивости.

– Все это очень хорошо и прекрасно, – сказала она, грубо прерывая его, – но долго ль это будет продолжаться и к чему поведет? Молодой человек уедет, возвратится в свое далекое отечество – разве он независим и может обеспечить ее жизнь? Нет, он ее забудет и ей придется самой заботиться о себе. Для этого я должна открыть ей дорогу, по которой идут столь многие, на которой можно, играя, добыть славу, золото, драгоценности и которая ведет к независимости и обеспеченной старости.

– Но если когда-нибудь возвратится он! – вскричал художник со сверкающим взором. – Если явится к тебе мой брат и спросит: «Лукреция, что ты сделала с моею дочерью?» – покажешь ли ты ему тогда эту славу, это золото и эти брильянты и сможешь ли ответить ему: «Вот так позаботилась я о твоём ребенке»?

По телу женщины пробежала дрожь. Она опустила глаза и промолчала.

– Но я, – продолжал художник, – постараюсь, сколько могу, спасти его чадо от безвозвратного падения в бездну. – Ты знаешь, что единственно эта обязанность, которую я поставил священной целью жизни, удерживает меня на твоём пути и приковывает к жизни, – прибавил он глухим голосом. – Я постараюсь исполнить эту обязанность до последней минуты, и, когда у меня не останется для того сил, я преодолею стыд, упреки совести, отыщу его... позову на помощь, и он спасет свое дитя!

Женщина бросила на него враждебный взгляд, который, впрочем, постаралась немедленно скрыть под опущенными веками; на губах ее появилась принужденная улыбка, и спокойным, почти кротким тоном она сказала:

– Ты знаешь, я люблю свою дочь и хочу устроить ее счастье и будущее, конечно, так, как сочту за лучшее по своему убеждению. Впрочем, она свободна; я не могу принуждать ее, Джулия сама должна решить окончательно.

Прежде чем художник успел ответить, отворилась дверь первого салона: легкими шагами пронеслась по мягкому ковру стройная фигура Джулии и стала в дверях позади матери.

На молодой девушке был простой наряд из легкой фиолетовой шелковой ткани; на просто причесанных блестящих волосах красовался убор того же цвета; на шее, окруженной сплошными кружевами, висел золотой крестик на черной ленте.

Странную картину представляли эти две столь похожие и, однако, столь различные женские личности. Грусть и тоска овладевали сердцем при мысли, что мать когда-то была такой, какова теперь дочь; невыразимый ужас леденил душу при мысли, что и дочь когда-нибудь может сделаться похожей на мать.

Джулия остановилась в дверях, по-видимому, несколько удивленная тем, что застала здесь свою мать, которую не привыкла часто видеть в скромной комнате художника. Она подошла к матери и почтительно поцеловала ей руку, при этом взгляд старухи благосклонно скользнул по стройному, гибкому стану молодой девушки. Потом Джулия бросилась к художнику и с восхитительной улыбкой подставила лоб, на котором тот нежно запечатлел поцелуй.

– Как сегодня твоё здоровье, отец? – спросила Джулия чистым, мягким голосом.

При этом простом вопросе художник потупился и отвечал, не поднимая глаз на молодую девушку:

– Я всегда здоров, когда слышу милый голос моей дорогой Джульетты.

– Ты не прибавил еще ни одного штриха к этой нескончаемой картине, – сказала Джулия, бросая взгляд на мольберт. – Я много лет вижу ее в одном и том же положении. Отчего голова Спасителя постоянно сокрыта серым облаком? Ты мог бы написать ее прекрасно – о, если бы я была в состоянии представить тебе живущий в моем сердце образ... я хорошо знаю, – добавила она, с детской невинностью глядя на художника, – каким был Спаситель, когда по искуплении человеческого рода возносился на небо, чтобы сказать Отцу: «Я взял на Себя грехи всего мира, Я омыл Своею кровью прегрешения минувших и будущих поколений, Я лишил смерть ее ужаса, ад – его силы!»

И свежее личико ее озарилось чудесным воодушевлением, набожным размышлением.

Художник всплеснул руками и с тоской смотрел на воодушевленные черты молодой девушки, как будто надеялся увидеть пред собой образ прощающего, всеобъемлющего на себя все грехи Спасителя.

– Что поделявает твой друг? – спросила Лукреция игриво. – Заглядывал сегодня? Ты поедешь куда-нибудь?

Девушка опустила глаза, прискорбное чувство выразилось в улыбке, легкий румянец вспыхнул на щеках.

– Он еще не приезжал, – сказала она, – я жду его позже... Мне так тяжело, грустно выезжать, я нахожу больше удовольствия в уединенной прогулке поздним вечером, когда никого не встретишь в аллеях Булонского леса.

Мать покачала головой.

– Пустые фантазии, от которых ты должна отказаться, мое дитя, – сказала она. – Тебе, напротив, следовало бы являться в то время, когда весь парижский свет бывает у озер. Тебе нет причины скрываться, – прибавила она, бросив довольный взгляд на дочь, – и твой друг может гордиться, показываясь с тобой перед большим светом!

Густой румянец покрыл лицо Джулии, глубокий вздох приподнял ее грудь. Она ничего не ответила на слова матери.

– Впрочем, сегодня, – продолжала последняя, – мне приятно, что ты дома; я ожидаю одного друга, которому говорила о твоём голосе и который желает послушать его. Кажется, он приехал, – прибавила она, прислушиваясь к шуму, раздававшемуся перед дверью первого салона.

Она быстро пошла в этот салон; Джулия провожала ее испуганным взглядом.

– Мне нужно поговорить с тобою, дитя мое, – сказал художник, подходя к молодой девушке. – Если найдешь свободную минуту, то приходи ко мне или пришли сказать, чтобы я пришел к тебе.

– О, я лучше приду к тебе, отец, – сказала с живостью молодая девушка, – здесь мне так хорошо – все эти простые, мелкие вещи напоминают мое тихое, счастливое детство, которое навеки исчезло!

– Джулия! – крикнула ей мать из другой комнаты. Молодая девушка последовала на призыв и вошла в богатый салон матери, почти весь заставленный темно-красною шелковою мебелью. Художник запер за ней дверь.

Лукреция сидела на стоявшей близ камина козетке; перед ней расположился в широком уютном кресле мужчина лет пятидесяти-шестидесяти, одетый по последней моде, завитый, с маленькими усами, окрашенными в блестящий черный цвет. Темные быстрые глаза смотрели зорко и подозрительно; отцветшие черты желтоватого лица странно противоречили юношеской осанке и платью; крючковатый нос напоминал клюв хищной птицы; большой рот, с выдававшейся несколько нижней губой, выказывал при улыбке ряд блестящих зубов, которые были так же тщательно вычищены, как и прочие части его туалета. Сильный запах мускуса окутывал, как атмосфера, эту странную и вообще мало располагающую к себе личность.

– Господин Мирпор, любитель музыки, – сказала Лукреция, представляя гостя дочери, – я говорила с ним о твоём голосе, и он желает слышать твоё пение; спой нам что-нибудь. Но, – прибавила она улыбаясь, – соберись с силами, потому что господин Мирпор – тонкий знаток.

Мирпор приподнялся для поклона, причем бросил пытливый взгляд на молодую девушку, окинувший её всю разом, такой взгляд бросает барышник на покупаемую лошадь.

Джулия потупила глаза и слегка поклонилась.

– Я бесконечно счастлив, что могу познакомиться с вами, – сказал мужчина хриплым голосом и с довольной улыбкой; потом, обращаясь к матери, прибавил вполголоса: – Держу пари, что малютка произведет фурор, если обладает хоть бы каким-нибудь голосом и отбросит застенчивость.

– Мое пение не выдержит критики знатока! – воскликнула Джулия довольно холодным тоном, в котором выразилось её нежелание иметь эту антипатичную личность судьёй её голоса.

– Ложная скромность, ложная скромность, дитя моё, – сказал Мирпор. – Вы должны избавиться от неё, потому что она стесняет и препятствует развитию силы и гибкости голоса. Впрочем, не бойтесь, я не буду строгим судьёй – при такой красоте и прелести приговор извесстен наперед.

– Спой, дитя, – сказала Лукреция приказным тоном, – здесь все свои, и я просила господина Мирпора оценить твои способности.

По этому требованию матери молодая девушка медленно подошла к стоявшему близ окна пианино; Мирпор внимательно следил за её движениями.

– Много мягкости в походке, – сказал он вполголоса, – прекрасные движения стана... она произведет фурор... я уже вижу всю молодежь в восторге, жатву брильянтов.

Джулия села за пианино, подумала с минуту и запела звучным голосом:

– *Когда настала мне пора Нормандию покинуть...*

Мирпор слушал внимательно; его сперва поразил выбор этой простой, грустной песни, которой он не ожидал после своего разговора с матерью; но потом, казалось, удивился гибкости и звучности голоса и задушевности пения.

Джулия забыла о присутствующих; она отдалась песне, которая гармонировала с её настроением, и с воодушевлением пела:

Приходит в жизни день и час —
Кончаются мечты у нас,
И вспомнить нужно о себе
Мятущейся душе...

– Bravo, bravo! – вскричал Мирпор, громко аплодируя. – Восхитительный голос! Если бы он был сильнее и обширнее, мадемуазель стала бы украшением оперы, но, кажется, голос ее будет слаб для этого. – Впрочем, будьте уверены, – продолжал он, обращаясь к Лукреции, – вашей дочери предстоит блестящая будущность – я уже вижу ее предметом общего удивления в Париже и сочту себя счастливым, что участвовал в открытии этого перла.

Джулия вдруг перестала петь при громких одобрениях Мирпора и повернулась в ту сторону, где сидела ее мать. Она слышала замечание гостя; нежное, мечтательное выражение, появившееся на ее лице при исполнении последней строфы, исчезло совсем; во взоре явилось твердое, непоколебимое спокойствие. Она быстро встала и, поклонясь слегка Мирпору, сказала с ледяною учтивостью:

– Благодарю вас за снисходительное суждение: я очень хорошо знаю, как мало заслуживает похвалы мое простое пение. Мои песни – удовольствие моей тихой, внутренней жизни, и я никогда не отдам на суд толпы того, что служит мне источником счастья и утешения в горе.

Мирпор с удивленьем взглянул на мать молодой девушки, потом сказал, разглаживая свои маленькие усы:

– Мадемуазель откажется со временем от этого жестокого решения – цветы не созданы для того, чтобы распускаться в безвестности, и такая красота не должна быть скрыта от света.

– Весьма естественно, – сказала Лукреция спокойно, – что, моя дочь, выросшая в домашнем уединении, испытывает некоторый страх при мысли выступить перед публикой: этот страх присущ всем артисткам. Впрочем, – прибавила она, бросив на Мирпора значительный взгляд, – все эти предположения, может быть, преждевременны: у моей дочери довольно времени, чтобы обсудить свое решение.

– Конечно, конечно, – сказал Мирпор, – я только выразил свое мнение и дал совет по чистой совести! Во всяком случае, надеюсь, что мадемуазель не отвергнет просьбы испытать свой замечательный талант по крайней мере в тесном кружке любителей и знатоков. Прошу у вас позволения, – обратился он к Лукреции, – ввести через несколько дней вас и вашу дочь в салоны двух моих друзей, знатных дам, маркизы де л'Эстрада и княгини Давидовой; там представится вашей дочери случай восхитить небольшой, но избранный кружок.

Джулия опустила глаза и сжала губы.

Когда Мирпор окончил говорить, девушка подняла на него взгляд с холодным выражением и, казалось, хотела отвечать.

В эту минуту отворилась дверь, в нее заглянула горничная молодой девушки и с многозначительным жестом сказала:

– Вас ожидают в салоне!

По лицу Джулии разлился яркий румянец.

– Ты позволишь мне взглянуть, кто приехал? – сказала она матери и, холодно поклонившись Мирпору, который следил за нею с удивлением, пробежала по коридору на другую половину этажа и вошла в свой салон.

Фон Грабенов встретил ее с сияющим взором и раскрытыми объятьями.

Она подбежала, бросилась к нему на грудь, приникла головой к плечу и громко зарыдала.

– Ради бога, что с тобой? – вскричал молодой человек в испуге.

– О, ничего, – прошептала девушка. – Когда я с тобой, у твоей груди, я чувствую себя, по крайней мере в эту минуту, в безопасности! Сладкий обман! – промолвила она тихо. – Ибо для меня нет безопасности и никто не может защитить меня!

– Ради бога, что случилось? – опечаленно воскликнул фон Грабенов. – Прошу тебя, скажи мне...

– Теперь ничего, – отвечала она, выпрямляясь и качая головой, как будто хотела сбросить покров мрачных мыслей. – Ты знаешь, что я часто бываю грустна, может быть, настанет минута, в которую я выскажу тебе причину моих мучений – если тени будущего примут осязательную

форму. Теперь же воспользуемся минутой, она так прекрасна – не станем терять ее, ведь кто знает, будет ли она продолжительна!

Джулия подышала на платок и приложила его к глазам.

Потом с восхитительной улыбкой взглянула на своего возлюбленного; ее глаза еще сверкали слезами.

– Твоя карета здесь? – спросила она. – Поедем за город: я жажду воздуха, весенних цветов, свежей зелени молодых листочков!

– Куда же поедем – в Булонский лес или к каскадам?

– Нет, – отвечала девушка. – Поедем в Венсенский лес – там никто не встретится, мы забудем мир, будем наедине с пробуждающеюся природой.

– Милая Джулия! – вскричал молодой человек, обнимая ее.

Тихо высвободилась она из объятий, надела мантию из черного бархата и маленькую шляпу, почти непрозрачная вуаль которой закрыла все лицо.

– Опять эта вуаль, – сказал фон Грабен, улыбаясь. – Непрозрачная, как маска венецианки; неужели я за всю дорогу не увижу твоего милого лица?

– Разве ты так скоро позабудешь его? – спросила она шутливо. – Я сниму вуаль за городом, где никто не увидит нас.

Она взяла его за руку, и оба они, сойдя с лестницы, сели в купе фон Грабена. Джулия прикинула в уголок, и карета поехала быстрой рысью по улице Нотр-Дам-де-Лоретт.

На углу улицы Лафайет телега с грузом перекрыла на минуту дорогу: экипажи должны были остановиться. Фон Грабен вдруг увидел около себя легкую открытую викторию графа Риверо; большая, горячая лошадь последнего била копытом и фыркала от нетерпенья.

Граф бросил пыливый, быстрый взгляд в купе и потом с улыбкой приветствовал рукой фон Грабена.

Последний несколько подался вперед и закрыл собою забившуюся в угол молодую девушку.

– Я благодарен этому неловкому хозяину телеги, – сказал граф, – за удовольствие видеть вас хотя бы на минуту, – и улыбнувшись вторично, приложил палец к губам.

Прежде чем фон Грабен, ответствовавший неловко на приветствие графа, успел сказать несколько слов, телега проехала, и нетерпеливая лошадь графа тронулась с места; граф Риверо крикнул «до свиданья» и помчался как стрела, карета же фон Грабена повернула на улицу Лафайет.

– Кто это? – спросила Джулия с глубоким вздохом.

– Твой соотечественник, моя бесценная, – отвечал фон Грабен, – итальянский граф Риверо.

– Странная личность, – сказала молодая девушка после минутного молчания. – Брошенный им взгляд поразил меня, как луч света, а звук его голоса взволновал мое сердце! Безрасудно верить предчувствиям, но какой-то внутренний голос говорит мне, что этот человек будет иметь громадное влияние на мою жизнь; я никогда не забуду его взгляда, хотя видела его через вуаль!

– Граф имеет удивительное влияние на все, приближающееся к нему, – сказал фон Грабен. – Я также испытал это влияние, но, – прибавил он, улыбаясь, – не желал бы, чтобы оно касалось тебя – я могу приревновать.

– Приревновать? – спросила она. – Какая глупость! Однако я никак не могу отделаться от впечатления, что этот человек будет иметь влияние на мою судьбу!

Она взяла руку молодого человека и откинулась головой к задней подушке экипажа.

Вскоре они выехали из города и через полчаса вступили в прекрасные уединенные аллеи Венсенского леса, как будто покрывшегося зеленым пухом.

Джулия откинула вуаль; карета остановилась, и молодые люди углубились, рука об руку, в аллее парка; лицо Джулии светилось безоблачным счастьем; словно резвое дитя, бегала она туда и сюда, чтобы сорвать душистую фиалку, желтую примулу или крошечную маргаритку. Сияющим взором следил молодой человек за прелестными движениями красивой девушки, звонко и любовно раздавался ее серебристый смех в кустах, и, как соловьиные песни весенней любви, лились трели ликующей радости.

Глава одиннадцатая

Императрица Евгения сидела в своем салоне в Тюильри; в полуотворенное окно врывался свежий воздух, пропитанный всеми ароматами распускающихся деревьев дворцового сада.

Напротив императрицы сидела ее чтица Марион, красивая девушка со скромной осанкой, кроткими приятными чертами лица, в простом темном наряде, перед ней лежало несколько распечатанных писем.

Императрица держала две особенным образом изогнутые металлические палочки, которые нужно было без всякого усилия соединить и потом разделить – головоломка, занимавшая в то время весь Париж и называвшаяся «*la question romaine*»³⁰.

Марион с улыбкой смотрела, как тонкие пальцы ее государыни тщетно силилась разнять сцепленные концы изогнутых палочек.

Императрица с нетерпением бросила головоломку на стол.

– Мне никогда не удастся решить этот «римский вопрос»! – вскричала она.

– Но все дело в том, чтобы найти правильное положение палочек, – сказала Марион нежным голосом. – Прошу, ваше величество, посмотрите.

Она взяла палочки и, слегка повернув, разделила их. Императрица внимательно следила за ее движениями, потом задумчивым взором обвела комнату и наконец сказала со вздохом:

– И здесь виден истинный дух парижан – превращать в игрушку самые важные и серьезные вопросы, занимающие весь мир! Мне кажется, что добрый парижанин, изучив прием для соединения и разделения этих палочек, считает себя счастливым и думает, что нашел ключ к римскому вопросу.

– Не лучше ли, – сказала Марион, – чтобы парижане занимались этим «римским вопросом», нежели ломали голову над настоящей политической проблемой, которой не могут решить? Из этого можно заключить, что надобно вовремя дать хорошенькую игрушку этим взрослым детям – она займет и удержит их от опасного волнения.

Красивые черты императрицы приняли грустное выражение.

– Итак, мой любезнейший кузен проповедует теперь в Пале-Рояле войну³¹? – спросила она, медленно выговаривая слова.

– Так говорят везде, – отвечала Марион. – Его императорское высочество с неудовольствием говорит об уступчивости и побуждает императора действовать твердо и энергично.

Императрица улыбнулась.

– Пусть делает, что угодно! – сказала она, пожимая плечами. – Он произведет совершенно противоположное впечатление. Но поистине грустно, что этот принц, которому следовало быть нашей опорой, употребляет все усилия на то, чтобы компрометировать империю и лишить ее доверия. Можно даже увидеть в этом злой умысел!

– О, как такое возможно? – возразила Марион. – Принц многим обязан восстановлению империи!

– Он считает себя истинным наследником первого императора, – сказала Евгения с задумчивым взглядом. – Принц, может быть, простил бы моему супругу занятие престола, но не простит нашего брака и сына! Удивительно, как гордятся дети Жерома³² тем, что их матерью была порфиородная принцесса, дочь немецкого короля. Моя кузина Матильда очень умная женщина, с превосходным сердцем, соблюдает этикет, но не любит меня, я понимаю это, –

³⁰ Римский вопрос (*фр.*).

³¹ Речь идет о Наполеоне Жозефе Бонапарте (1822—1891) – сыне Жерома Бонапарта. Имел прозвище «Принц Плон-Плон» (детская вариация имени Наполеон).

³² Здесь упоминается Жером Бонапарт (1784—1860), младший брат Наполеона.

прибавила она тихо, – но принц везде, где только можно, выказывает свое недоброжелательство ко мне и при всяком случае напоминает о королевском происхождении своей супруги, доброй Клотильды, которая сама нисколько не думает о том. Много значит, – продолжала она со вздохом, – что сын этого принца принадлежит, по матери и бабке, к семейству королей, тогда как у моего Луи нет в материнской родословной иных имен, кроме Монтихо и Богарне. И европейские дворы никогда не забудут этого! Но, – тут губы ее сжались, а во взгляде сверкнула молния, – разве кровь Гусмана де Альфараче не так же благородна, как и кровь многих королей?

– Ваше величество вынашивает такие мысли, которых никто не отважится питать, – сказала Марион с улыбкой.

– Кто знает, – прошептала императрица. – Сегодня, быть может, и нет, но может прийти время... Во всяком случае, – сказала она, поднимая голову, – грустно, что этот принц постоянно вносит смятение и беспокойство в страну и семейство. Император должен строже поступать с ним, но выказывает удивительную снисходительность к этой безрассудной голове, питает суеверное почитание к крови великого императора, и сходство принца с дядей обезоруживает гнев моего супруга. Я знаю, что в Пале-Рояле всегда рады едким замечаниям на мой счет и на счет окружающих меня: довольно пожелать мне чего-нибудь, как уже мой дорогой кузен заявляет противоположное желание; я убеждена, что он потому только настаивает на войне, что я желаю сохранить мир!

– Но разве это не естественно? – спросила Марион. – Как ваше величество в качестве женщины, первой матери во Франции, служит представительницей мира, так точно и принц в качестве мужчины, воина должен быть представителем воинской чести и славы...

– Он-то – воин? – вскричала Евгения, пожимая плечами. – О, если бы речь шла о войне, которая принесла Франции честь и славу, я первая настаивала бы на этой войне; но стоит только сделать одну новую ошибку, как все враги императора и нашего дома, собирающаяся постоянно вокруг принца, подстрекнут его воспользоваться этой ошибкой. К тому же болезнь моего сына... Воздух Сен-Клу еще не произвел заметного улучшения в его здоровье. О моя дорогая Марион! – вскричала она с прискорбием, складывая руки. – Если умрет это дитя, что будет со мной?!

Марион бросилась на колени и поцеловала руку своей государыни.

– Какие мысли у вашего величества! – вскричала она.

– У тебя верное сердце, – сказала императрица кротко и ласково. – Много ли таких сердец около меня. Куда исчезнут все, преклоняющиеся передо мной и горячо уверяющие в своей преданности? Куда исчезнут они, когда настанет день несчастья?

И она задумчиво провела кроткой рукой по волосам своей чтицы.

В дверь постучали. Вошел камердинер императрицы.

– Его сиятельство государственный министр.

Императрица кивнула головой, Марион встала.

– И у него также верное и преданное сердце, – прошептала она, пока камердинер открывал дверь Руэру.

– И он падет вместе с нами, – произнесла императрица, почти не шевеля губами.

Министр подошел с почтительным поклоном к императрице, между тем как Марион бесшумно удалилась через внутреннюю дверь.

Высокая дородная фигура Руэра, облаченная в черный фрак с большим бантом ордена Почетного легиона, не отличалась ни красотой, ни представительностью; на первый взгляд его лицо казалось самым обыкновенным, рот приветливо улыбался, из-под широкого лба выглядывали ясные глаза, черты лица почти совершенно сглаживались полнотой. Вся наружность этого человека, слово которого так долго владычествовало над палатами империи, производила впечатление адвоката или начальника бюро, но никак не государственного руководителя.

Когда же он начинал говорить, в его лице являлась твердая и гордая уверенность того необыкновенного ума, который умел распутывать самые сложные вопросы, овладевать ими и представлять в таком виде, в каком ему было желательно изложить их своим слушателям; глаза горели не теплым светом воодушевления, но ярким, светлым огнем пронизательного, анализирующего разума; слова следовали друг за другом с удивительной правильностью и логичностью или с удивительной силой поражали противника в диалектической борьбе; он никогда не овладевал сердцами слушателей, он покорял их рассудок.

Императрица протянула Руэру стройную белую ручку, которую тот почтительно поцеловал. Потом, по знаку императрицы, сел напротив нее.

– Ваше величество дали мне знать, – сказал он, – что позволяете мне засвидетельствовать вам свою преданность, – от всего сердца благодарю за эту милость.

Евгения с улыбкой взглянула на него.

– С другим человеком, – сказала она, – я поискала бы предлог, чтобы выразить ему то, что именно хотела сказать, с вами же, дорогой Руэр, это бесполезно, вы тотчас смекнете. Поэтому я прямо выскажу, зачем пригласила вас.

– Я сочту себя счастливым, – отвечал Руэр, – если буду в состоянии служить вам в чем-либо.

– Вам известно, мой дорогой министр, – продолжала императрица, – что беспокойство опять овладело всем политическим миром. Я с ужасом слышу, что несчастный люксембургский вопрос угрожает принять дурной оборот и принудить нас к жестокой войне. Я боюсь вмешиваться в политику, это не та сфера, в которой я должна приносить пользу Франции, но, как известно, политика женщин вообще заключается в старании сохранить мир, и я желала бы содействовать, сколько могу, отказу от войны. Я настоятельно просила императора не доводить дела до крайности, и, – прибавила она с грациозной улыбкой, складывая кончики пальцев, – хотела еще просить вас, верную опору государя, его лучшего советника, помочь мне сохранить мир; скажите свое веское слово, чтобы Франция, еще не залечившая своих старых ран, не была принуждена вступить в новую, столь жестокую борьбу.

Государственный министр с удивлением посмотрел на посерьезневшую императрицу и с почтительным вниманием слушал ее до конца.

– Естественно, – ответил он, – что благородное сердце вашего величества содрогается перед ужасами войны, хотя я убежден, что вы благословите французские знамена, когда они отправятся за новыми лаврами для отечества.

Евгения слегка закусила нижнюю губу и на минуту опустила глаза вниз.

– И я, – продолжал Руэр не останавливаясь, – конечно, не принадлежу к числу тех, которые в своем шовинистском предубеждении видят спасение Франции только в вечной войне, в бесконечном скоплении кровавых трофеев, но я никогда не скрывал ни от императора, ни от представителей страны, что победа пруссаков при Садовой, разорвавшая все плотины европейского договорного права, щемит мое патриотическое сердце. Я настаивал тогда, чтобы император не становился между разгоряченными противниками, как того многие требовали – не следует опускать пальца в кипяток. Я не нахожу также, чтобы та форма Германии, которая составляет конечный результат войны 1866 года, была, безусловно, вредна для Франции: скорее наша политика может извлечь многие выгоды из современного положения дел. Однако европейское равновесие существенно нарушено – этот прусский меч, обращенный, по выражению Тьера, против сердца Франции, сделался настолько крепче и острее, что, действительно, необходимо притупить его и посредством вознаграждения восстановить равновесие. То и другое достигается уступкой Люксембурга. Последний служит в руках Пруссии острием меча, в наших же руках он будет крепким щитом. Впрочем, я не думаю, что дело дойдет до войны – в Берлине боятся ее, и если только мы станем действовать твердо и не уступать...

– Не думайте так! – вскричала императрица с живостью. – Прусская сдержанность и умеренность притворны: там готовят сильный и общий взрыв немецкого национального чувства; запрос в собрании рейхстага был лозунгом, и если он удастся, то заговорят другим языком. Я уверена, что там решились на войну. Говорили вы с графом Гольтцем? – спросила она.

– Нет, – отвечал Руэр.

– Я вчера видела его, и знаете ли, он глубоко сожалеет о том, что в минувшем году не состоялось окончательного соглашения между Францией и Пруссией; он искренно желает сохранить добрые отношения, которые были бы неизменны, если бы он мог руководить прусской политикой. Гольц убежден, что в Берлине решились на войну, и заклинал меня помочь здесь устранению конфликта.

– Но если бы началась война, – сказал Руэр спокойно, – мы взяли бы Люксембург. Оппозиционные элементы в Германии причинили бы много работы Пруссии, которая, скрестив с нами шпагу, довольствовалась тем, что за уступку Люксембурга приобретает признание первенства в Германии – цель похода 1866 года.

– Но у нас нет ни одного союзника! – воскликнула Евгения. – Тогда как у Пруссии есть Италия, Россия, тайное доброжелательство английской политики...

– История доказывает, – сказал Руэр, – что поиск союзников не приносил Франции ни силы, ни выгод. У Наполеона I не было союзников, они явились потом, вследствие его побед...

– Наполеон I! – вскричала императрица с неопределенным выражением и глубоко вздохнула. – О, я вижу ясно, что мои слова нигде не находят отклика, и однако... – Она подняла вверх глаза и сложила руки. – Я никогда не желала так сильно, как теперь, предотвратить ужасы войны. Еще не миновавшая опасность для жизни принца доказала мне на опыте, что значит посылать своих сыновей на смерть, на поле битвы, и я чувствую себя теперь более, чем когда либо, представительницей тоски и горя всех матерей во Франции. Кроме того, я смотрю дальше. Последствия этой войны пагубно действуют на внутреннее наше состояние.

– Мне кажется, что твердый образ внешних действий послужит только к упрочению внутреннего состояния и заставить смолкнуть все враждебные элементы, – ответил спокойно государственный министр.

– Если и внутри будут действовать с такою же твердостью, – возразила императрица. – К сожалению, люди, советующие императору начать войну, имеют свои особые виды, которые хорошо известны мне и которые, быть может, не лишены надежды на успех.

– Каких же видов можно достигнуть войной? – спросил Руэр, в глазах которого появилось большее внимание.

– Боже мой! – сказала Евгения, играя палочкой от «question romaine». – Вам известно, что я вижу и должна видеть многое, потому что ко мне стремятся интересы всех сторон, и враги по своей злобе, а друзья по своей ревности доводят до меня все. Так и теперь, я вижу сильное противодействие, имеющее целью ослабить бразды правления и ввести систему парламентаризма. Во главе этого движения стоит мой кузен Наполеон, на заднем плане Оливье...

– Эмиль Оливье? – вскричал Руэр, почти подпрыгнув на стуле. – Этот мечтатель, этот тщеславный шут, голова которого набита фразами и противоречиями, а сердце полно бессильным честолюбием? Я знаю его, – продолжал он с насмешливой улыбкой, – я знаю цену этому спартанцу. Но какую он имеет связь с вопросом о войне?

– Очень простую, – отвечала императрица, бросив быстрый взгляд из-под опущенных век, – императору твердят, что по прошествии двадцатилетнего периода существования империи нет надобности в сильном сосредоточении власти, что оно раздражает умы, отчуждает народ от династии и представляет престол шатким в глазах Европы; что теперь необходимо ввести новую парламентарную систему и привлечь в правительственную сферу силы оппозиции, чтобы создать для императорского сына такое учреждение, которое могло бы упрочить и поддержать династию независимо от личного преимущества государя.

Руэр пожал плечами.

– Но чтобы устранить систему личного правления, – продолжала императрица почти равнодушным тоном, – надобно, как твердят императору, поставить эту систему на высшую степень обаяния, потому что иначе народ не примет парламентаризма за добровольный подарок и не станет благодарить за него, но сочтет его данью слабости.

– Такие уступки всегда бывают слабостью! – заявил государственный министр, покраснев от гнева.

– Теперь же, – продолжала императрица прежним тоном, – обаяние личного правления сильно потрясено отстранением Франции от немецкой катастрофы...

– Оно уже было прежде потрясено жалким исходом мексиканской экспедиции! – вскричал Руэр порывисто.

Евгения бросила гневный взгляд и так сжала металлическую палочку, что на руке отпечаталась красная полоса, но ни одна черта не дрогнула в ее лице; она продолжала тем же спокойным тоном:

– В первый раз потрясаются европейские отношения, и Францию не спрашивают или не выслушивают: надобно изгладить это впечатление. Но когда Франция восстановит свое обаяние, когда император удовлетворит французский народ и свое самолюбие посредством требуемого вознаграждения, когда он будет главою победоносного войска, когда опять Европа станет внимать его слову – тогда наступит минута основать новое учреждение, которое со временем утвердит престол нашего сына. Я, – продолжала она со вздохом, – не вижу никакого опасения в этом учреждении; я нахожу, что империи нужна твердая, сосредоточенная власть для управления беспокойными французами; поэтому из всех сил боролась против этих идей и старалась удержать императора от войны, однако я, быть может, ошибаюсь? Я уже раскаиваюсь, что отступила от своего правила никогда не вмешиваться в политику, хотя бы из самых лучших побуждений...

– А император? – спросил Руэр, который со всевозрастающим вниманием следил за словами императрицы. – Что говорит он об этих грезах?

– Император? – переспросила Евгения. – Разве вы не знаете его? Молчит, слушает, и, кажется, слушает слишком долго и внимательно. Вы знаете, какое сильное влияние имеют на него великие либеральные и цивилизаторские идеи; мне кажется, я даже почти уверена, что сердце его расположено больше к тем людям, которые хотят вести империю к великому парламентарному апофеозу. Но оставим это, я переступила установленные мною границы; кроме того, коснулась тягостного предмета, потому что при всех этих прениях непременно касаешься вас! Итак, мой дорогой министр, – продолжила она с очаровательной улыбкой, – забудьте, что мы говорили о политике, сочтите все мои слова за тоскливые излиянья женского сердца, которые не должны вводить в заблуждение такой сильный ум, как ваш, издавна привыкший обозревать политику и руководить ею. Я ненавижу грозную войну и потому говорю и противодействую ей сколько хватает сил; вы смотрите на нее иначе: император рассудит, и звезда Франции дарует счастливое окончание.

И государыня улыбнулась с таким видом, который ясно говорил, что разговор окончен.

– Видели вы, – спросила императрица, показывая обе палочки, – как теперь решают добрые парижане «римский вопрос»? Этой игрушке дали название «question romaine» – все дело в том...

– Прошу вас, – прервал ее министр, не обращая внимания на головоломку, прошу не придавать моим словам такого значения, как будто я хочу побудить императора к войне из-за люксембургского вопроса. Война – последнее и крайнее средство, и если Франция должна из самоуважения действовать твердо, то это еще не значит, что следует доводить вопрос до кровавого столкновения. Ваше величество может быть уверено...

– Прошу вас, оставим это, – сказала императрица, – вам не следует подчинять своих мнений моим, может быть, нелепым опасениям. Пожалуйста, забудьте все это! Вот, – сказала она, нетерпеливо бросив палочки на стол, – не могу никак решить этот «римский вопрос». Никак, никак, никак! – вскричала она, смотря с тонкой улыбкой на взволнованное лицо государственного министра.

– Ваше величество может быть уверено, – сказал Руэр, вставая, – что при малейшей возможности мирно разрешить вопрос я употреблю все силы на то, чтобы поддержать ваше столь естественное и благородное желание и сохранить внешний мир.

– Внешний мир, – сказала Евгения с прелестной улыбкой, – это означает устойчивое внутреннее устройство. Итак, мы союзники, но еще раз прошу вас действовать по своему, а не по моему убеждению...

– Вашему величеству угодно было назвать меня своим союзником, – отвечал министр, – и я надеюсь, что моя высокая союзница поможет мне против внутренних врагов, которые хотят разрушить самые крепкие и сильные основания империи.

– Если ветки оливы осеняют Европу, – сказала императрица с тонкой улыбкой, – то нам не нужен Оливье в садах Франции!

И, встав, она с улыбкой протянула руку министру; последний поцеловал ее и с глубоким поклоном вышел из салона.

Императрица посмотрела, улыбаясь, ему вслед.

– Одних манят надеждами, – прошептала она, – других покоряют страхом. Этому нечего больше желать, поэтому надобно запугать его!

* * *

Пока в салоне императрицы происходила вышеописанная сцена, Наполеон III сидел в своем кабинете напротив Мутье, который разложил несколько бумаг на письменном столе императора.

Наполеон был угрюм и взволнован; он сидел, сгорбившись, и нетерпеливо проводил пальцами по усам; в руке он держал потухшую сигаретку; полузакрытые глаза пасмурно тупились.

– Прескверную штуку сыграла с нами нескромность голландского короля, – сказал он глухо. – Такое простое, естественное дело, которое, по-видимому, легко было устроить и при котором я не мог предполагать серьезного препятствия, превращается в серьезное столкновение, общеевропейский вопрос, причину войны. О, если бы я предвидел это, – сказал он со вздохом, – я не касался бы этого дела, по крайней мере теперь!

– Неужели ваше величество предполагало, что можно приобрести Люксембург, не встретив никакого сопротивления со стороны берлинского кабинета? – спросил маркиз с удивлением.

– Да, предполагал, – ответил император. – Я часто намекал прежде, но ни разу не получил определенного ответа, и эта-то неопределенность заставила меня думать, что в Берлине склонны на эту уступку, дабы прийти к окончательному соглашению. Я предполагал, что там не захотят явно одобрить, но будут довольны, если дело устроится. И вот...

– И ваше величество считает настоящее сопротивление серьезным? – осведомился маркиз. – Я думаю, немцы просто хотят набить своим сопротивлением большую цену уступке!

Император медленно покачал головой.

– Вы ошибаетесь, – сказал он наконец, – это противодействие серьезно. Не было бы запроса в рейхстаге, если бы того не хотел граф Бисмарк; постановка им вопроса на эту почву неопровержимо доказывает мне его твердую решимость не делать уступок, потому что национальное чувство немцев будет более и более раздражаться, а в руках такого человека, как прусский министр, оно становится страшным орудием. Знаете ли, мой дорогой маркиз, что

во всем этом деле особенно тягостно, можно сказать, неприятно для меня: это не неудавшаяся комбинация, не препятствия, встречаемые мною в этом частном вопросе. Можно придумать иную комбинацию, найти другой путь к соглашению, но, – продолжал он глухим голосом, – я встречаю опять то непреодолимое, холодное, враждебное, хотя спокойное по наружности, сопротивление, которое оказывает мне этот прусский министр на каждом моем шагу к установлению прочных, дружественных отношений между новой Германией и Францией. К устройству союза, который должен бы, по моему убеждению, владычествовать над миром! Бисмарк постоянно твердит о своем желании жить со мной в наилучших отношениях, но всякий раз, как я хочу положить основание тому, отклоняет протянутую руку. К чему это поведет? Может ли Франция спокойно, не усиливаясь в свою очередь, смотреть на чрезмерное возрастание немецкой силы? Это в итоге должно повести к жестокой, страшной борьбе, к борьбе племен, в которой не только выступят друг против друга политическое могущество Германии и Франции, но и решится вопрос о первенстве германской или латинской расы в Европе!

– Если ваше величество убеждено в неизбежности этой борьбы, – сказал маркиз Мутье, – то гораздо лучше идти навстречу событиям, к чему представляется теперь случай, нежели быть затем захлестнутым ими. Будьте тверды, покажите теперь, пока не окрепло немецкое могущество, несгибаемую волю и непреклонную решимость, и я убежден, что берлинский кабинет уступит.

Император медленно покачал головой.

– В противном случае, – сказал маркиз, – мы будем драться, мы покажем наконец этим высокомерным победителям при Садовой, что Франция не чета Австрии...

– Мы одни, – произнес император нерешительно.

– Не совсем, – отвечал маркиз, – у нас более верные союзники, чем какой бы то ни было кабинет: у нас есть все насильно покоренные элементы в Германии, католические южнонемецкие партии; у нас есть Ганновер, который восстает против прусского ига, у нас есть население Люксембурга, которое не преминет сделать демонстрацию пред глазами всей Европы.

– Вы уверены в этом? – спросил император.

Маркиз взял небольшую тетрадь, лежавшую перед ним на столе.

– Вот, – сказал он, – очень подробное и любопытное сообщение Жакино о состоянии великого герцогства.

– Жакино? – прервал император вопросительным тоном.

– Он префект в Вердене, – отвечал маркиз, – сын генерала Жакино, женатый на дочери Коллара из Люксембурга и часто навещающий семейство жены; он много наблюдал и с большим искусством сопоставил свои наблюдения. Он констатирует, что все население великого герцогства расположено к Франции; старания двух деятелей, – маркиз перевернул несколько листов, отыскивая имена, – а именно: Фридемана и Штоммера, распространить немецкий язык и литературу, остались бесплодны; торговля и другие отношения привлекают население к нам; при обнаружении всех этих фактов нельзя будет упрекнуть нас в том, что мы требуем себе немецкой области.

– Оставьте мне это сообщение, – сказал император и, взяв тетрадь, положил ее на стол. – Вы говорили о Ганновере? Можно там рассчитывать на что-либо серьезное? Это было бы весьма важно!

– Все известия единогласно утверждают, – заявил маркиз, – что ганноверское население относится в высшей степени неприязненно к прусскому господству; сегодня же я получил еще известие, что множество прежних ганноверских офицеров и солдат собирается в Арнгейме, в боевом порядке.

– Неужели? – спросил император. – Это было бы весьма важным пунктом – немецкий народ, потомки воинов Ватерлоо, на нашей стороне. Надобно тотчас послать туда курьера и приказать Бодену.

– Будет исполнено, ваше величество, – сказал маркиз. – Кроме того, герцог Граммон пишет, что ганноверский король намерен прислать сюда своего представителя; тогда можно будет завести ближайшие сношения...

– Я слышал об этом, – сказал император. – Несмотря на утрату престола, король Георг остается одним из лучших государей Европы, и я могу, несмотря на государственные отношения к Пруссии, продолжать с ним личные сношения. Представителя его следует окружить всевозможной предупредительностью. Этот ганноверский вопрос – такое дело, которое мы должны тщательно хранить в шкафах нашего политического архива, откуда мы вытащим его, когда придет время. Я принял, но не признал произошедшие в Германии перемены: присоединение государств. Когда по какому-либо поводу явится конфликт, я буду иметь полное право считать открытым весь немецкий вопрос и действовать сообразно этому.

– Сопоставив состояние Ганновера и южногерманские условия, – продолжал Мутье, – ведя войну таким образом, чтобы одна армия, поддерживаемая флотом, стала действовать из Голландии на Ганновер, а главная армия двинулась, по примеру Моро, с юга и, достигнув южногерманских границ, предъявила альтернативу: союз или неприятельское вторжение, то ваше величество должны согласиться, что эти шансы гораздо выгоднее всяких союзов и обещаний европейских дворов. Пруссии столько потребуется войск для надзора и подавления внутренних врагов, что у нее останется очень мало сил, чтобы действовать против наших армий.

Император улыбнулся.

– Мой министр иностранных дел строит военные планы. Вы, верно, вы говорили с маршалом Ниэлем?

– Правда, я немного порасспросил маршала, – отвечал маркиз, – однако изложенный мной план похода настолько же вытекает из политической, насколько из военной точки зрения.

– Правда, эти же мысли принадлежат и Ниэлю, – сказал император более сам себе, чем обращаясь к собеседнику, – только нужно повременить, он еще не готов... И он хочет предпринять зимний поход!

– Итак, ваше величество решились действовать серьезно и без снисхождения? – спросил министр.

– Без снисхождения? – переспросил император. – Это не улучшит нашего положения: мы должны избежать упрека в поджигании политического здания Европы, да и положение еще не совсем ясно. Граммон приедет сюда?

– На этих днях, – отвечал маркиз. – Судя по письму, я ожидаю его даже сегодня.

– Нетерпеливо желаю говорить с ним, – сказал император, – этот фон Бейст делает из Австрии такую сложную машину, что кажется, сам собьется с толку и не будет в состоянии управлять своим оригинальным механизмом. – Кстати, – перешел император к другому предмету, – Австрия ведет замечательную игру на Востоке, которая возбуждает во мне опасения! Неужели фон Бейст, которому иногда приходят в голову странные опыты и мысли, хочет восстановить старый, так называемый Священный союз, который мы расторгли с таким трудом? Он делает России замечательные авансы: пересмотр трактата 1856 года.

– Ваше величество сами согласны на этот пересмотр, – заметил маркиз.

– Если я имею основание к соглашению с Россией, – сказал император, улыбаясь, – то нет никакой надобности, чтобы фон Бейст приписал себе заслугу этого соглашения. Надобно во что бы то ни стало избегать восточной коалиции; она, по логической необходимости, обратится против нас.

– Следовательно, мы должны объявить себя против австрийского предложения? – спросил Мутье.

– Этим самым мы вызовем то, чего хотим избежать, – сказал император, покручивая усы, – нам не следует ни относиться враждебно к России, ни терпеть, с другой стороны, чтобы

восточный вопрос имел какое-либо безразличное разрешение или окончился временной сделкой. Нам нужно опередить Австрию! – прибавил он после краткого размышления.

Маркиз удивленно вскинулся.

– Предложить столько, чтобы... все осталось по-старому! – сказал император, улыбаясь.

– А! – произнес маркиз, кивнув несколько раз головой.

– Предложим отделить совершенно от Турции и присоединить к Греции Кандию, Фессалию и Эпир, с целью раз и навсегда положить конец тамошним неудовольствиям! Это встревожит Англию, и все останется по-прежнему. Во всяком случае, Австрия не должна иметь никаких путей к иным союзам, кроме нашего!

Маркиз поклонился.

– Но, – сказал он потом, – я возвращаюсь к люксембургскому вопросу: ваше величество приказывает, чтобы наш язык был тверд и энергичен?

– Последуем примеру нашего противника, – сказал император, – и будем сперва холодно-сдержанны, не станем горячиться преждевременно. Вопрос поступит на рассмотрение европейской конференции, ее никак нельзя избежать. Потому не станем заходить слишком далеко.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.